

П Р О С А

Налъ Подольскій

КОШАЧЬЯ ИСТОРИЯ

Повесть

- А можно ли верить в беса,  
не веруя совсем в Бога? -  
засмеялся Ставрогин.

- О, очень можно, сплошь и  
рядом, - поднял глаза Тихон  
и тоже улыбнулся.

Ф. Достоевский

## Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

1

Много раз я пытался найти начало этой истории, и всегда выходило, что вначале была ночная дорога. И хотя то, что можно назвать "историей", началось значительно позже, в ту летнюю крымскую ночь, когда незнакомые люди везли меня сквозь ~~шиш~~ теплую тьму в незнакомый город, я переживал ясное ощущение начала. Оно пришло неожиданно посередине пути. Скорее всего, его принесли запахи — запах полыни, запах табачных полей, запах темной земли, отдающей ночи тепло — они бились упруго в глаза и щеки, отнимая у памяти лица, слова, размышления, предлагая начать жить сначала.

Чернота по краям дороги казалась немой. На самом деле, наверное, степь была наполнена звуками, но их заглушало урчание перегревшегося мотора и тархтенье щебенки, летящей из-под колес.

Время тогда совсем пропало. Не то, чтобы оно остановилось, или мчалось со сверхъестественной скоростью — нет, его просто не было. Я взглянул на часы — оказалось, они стоят; они чем-то меня раздражали, я снял их с руки и сунул в карман.

Смутно белея тенями домов, проносились мимо деревни. Приближение их отмечалось сменой запахов: в аромат степи вторгались запахи сена и фруктовых садов, а затем начинался собачий лай, и он тоже казался почему-то немым.

Город возник вдали неожиданно, сразу весь, когда дорога вынесла нас на вершину холма. Он переливался огнями и похож был на лужицу света, выплеснутую на поверхность степи. Очертания лужицы напоминали перекошенную подкову — я припомнил, что город стоит у моря, протянувшись вдоль берега бухты.

Дорога пошла вниз, и город исчез; через минуту он появился снова, но уже лишь светящейся черточкой на горизонте,

над которой мерцало туманное зарево. Черточка эта ширилась, становилась ярче, а зарево — расплывчатее и выше; вскоре пятно света занимало уже пол-горизонта.

Путь освещался теперь фонарями, поспешно и деловито бежали они навстречу. Под каждым из них покачивался конус света, желтый и грязноватый, за пределами конусов сгущался непроницаемый мрак, сменивший прозрачную безграничность ночи. Замелькали дома, окруженные палисадниками.

Я испытал <sup>нв</sup> что-то вроде обиды — у меня отобрали ночную дорогу, близость к темному небу и беззаботность. И если бы в тот момент мне позволили пожелать чуда, я, наверное, попросил бы вернуть бездумность езды сквозь ночь, попросил бы, чтоб она никогда не кончалась. Ехать было прекрасно, и не хотелось никуда приезжать.

Мы углубились в лабиринт переулков. Водитель знал, видимо, город и, не сбавляя хода, преодолевал узкие кривые проезды между покосившимися заборами, пивными ларьками и чугунными водяными колонками.

Вокруг было странно тихо. В любом жнном городе ритм ночи означает переключками собачьего лая; по таинственным своим законам он прокатывается волнами по окраинам, кругами сходится к центру, гложет и взрывается новой вспышкой неожиданно где-нибудь рядом. А здесь было тихо.

Мои спутники во время езды не пытались затевать разговор, я им был благодарен за это. И сейчас они ни о чем не спрашивали, будто знали, куда мне нужно.

Автомобиль выбрался на асфальтовую, ярко освещенную улицу и круто свернул направо. Мотор в последний раз зарычал и заглох.

Тишина плотной средой наполнила пространство. Нужно было протянуть руку и открыть дверцу, но я поддался парализующему действию тишины. Не к месту думалось, что вот так цепенеть сразу — наверное, очень древний закон для всего живого... Если вдруг стало тихо — затанься и жди... иначе смерть...

Часы, что тихонько светились на щитке всю дорогу, теперь, словно прося меня поторопиться, громко и навязчиво тикали. Мое промедление становилось уже неприличным, но шофер и хозя-

и машины — два силуэта в фосфорическом свете циферблатов щитка — терпеливо ждали.

— Гостиница, — вяло сказал силуэт шофера.

Я, наконец, открыл дверцу.

— Счастливо, желая успеха, — добавил второй силуэт.

— Спасибо, — ответил я машинально, — спасибо и до свидания... — но в мыслях вертелось назойливо: какого успеха?

Автомобиль отъехал, мигая задними фарами, их красные огоньки, удаляясь, тоже как будто спрашивали: какого успеха?

Я стоял с чемоданом в руках посередине круглой, как арена, площадки. В кольце из кустов, подстриженных кубиками, было три прохода: в один мы въезжали, сквозь другой машина уехала, мне оставался третий — к ступенькам крыльца гостиницы.

Двухэтажный дом мягко белел в темноте, очертания его расплывались. Ветки склонялись к окнам, и на стекла ложились легкие тени; все окна были темны, лишь стеклянная дверь слабо светилась. Дом спал утно и безмятежно, как спят в своем логове звери.

За дверью, в глубине холла, виднелась стойка с зеленой лампой и темнокрасный диван. У стойки никого не было.

Я поставил чемодан у дверей и стал стучать, сначала тихо, потом громче, потом совсем громко — и совершенно напрасно. Гостиница спала не только утно, но и беспробудно.

Ничего не оставалось другого, как сесть на ступеньку и достать сигареты. Тишина казалась внимательной, чуткой, с особым своим нервом, от которого становились значимы самые ничтожные звуки. Мое собственное дыхание... слабое шипение сигареты... шорох мелких зверушек в кустах... чуткая тишина, слушающая... в чем же ее нерв... в чем секрет... в чем-то, чего обычно не слышишь... да, в этом все дело — услышать то, чего обычно не слышишь...

Я напрягал внимание и, наконец, уловил — не то редкие вздохи... не то чуть слышные глухие удары...

Тихий размеренный гул плыл над городом, гул морского прибора; он притягивал, предлагая свой четкий ритм для движений и мыслей. Повинуясь этому ритму, я встал, пересек

окаймленную кустами площадку и зашагал по улице. На меня на- казало веселое любопытство и бодрость, словно на утренней прогулке.

Улица привела сразу к треугольной, неправильной формы, площади, на которую я попал с самого острого, вытянутого угла. Здесь сходились пять улиц, и по всем их углам возвыша- лись столбы с фонарями, освещая площадь, будто сцену гигант- ского театра. Деревянные балконы нависали над площадью, нигде не было ни соринки, темный асфальт блестел, как покрытый сте- клянной коркой, казалось, под ногами прохожих он должен зве- неть. В самом центре пространства восседал большой черный кот.

Лишь только я вышел на площадь, у меня возникло несколь- ко теней. Часть из них забегала вперед, другие, наоборот, от- ставали, они становились все короче и четче, то длинней и расплывчатей, и, меняясь местами, выплывали вокруг меня не- кий замысловатый танец.

Кот, не желая делить свою территорию с пришельцем, без- различно смерил меня круглыми желтыми глазами, поднялся и не спеша удалился. Его тени — фантастические, небывалых разме- ров коты — изгибаясь и наползая одна на другую, исчезли с ним вместе в темноте подворотни.

Мои тени теперь успокоились и легли звездой на асфальт, легли симметрично и плотно, будто им полагалось оставаться здесь долгое время. Три из них направились в сторону, где был слышен шум моря; туда полого спускалась улица, освещен- ная ярко и призрачно лампами дневного света, и конца ее не было видно.

Правее нее на площадь выходил широкий бульвар, шел он, видимо, параллельно берегу. Над бульваром тоже горели люми- нисцентные лампы, зеленые, белые и оранжевые — два ряда фо- нарей, два разноцветных пунктира, они сходились вдаль, как сходятся рельсы на железной дороге. К той же далекой точке вели две ~~или~~ белые линии крашеных эмалью скамеек, две темные шеренги акаций и две полосы глянцевого асфальта. Шде-то посредине этого бесконечного пути виднелся белый высокий па- мятник. Казалось, тут все приготовлено для какого-то стран- ного карнавала, на который никто не пришел.

И еще две улицы выходили на площадь — узкие, без едино-

го фонаря, они вели вверх по склону д холма, прочь от моря. В теплой их темноте угадывались дома со ставнями, мальвы и подсолнухи за калитками, аккуратные грядки небольших огородов. Чей-то сонный покой, чья-то замкнутость пряталась там, они наводили на мысли о скуке, хотя и таили в себе каплю горечи.

Я еще раз оглядел площадь — света не было ни в одном из окон, но они, как будто, рассматривали меня с ответным любопытством. Оно вовсе не раздражало: просто люди уснули в своих кроватях, и дома сейчас сами себе хозяева, вот и глядят, на что вздумается.

Ветер шелохнул воздух и принес запах моря, шум прибоя усилился. Я шагнул, и тени, что лежали у ног спокойно, всполошились и потянулись вперед. Понемногу они бледнели, и пропали совсем, когда я вступил на улицу, залитую голубоватым светом.

Идти по ней было легко, как во сне. Глянцевитый асфальт сам уплывал из-под ног назад, а спереди с каждым шагом подступали все ближе ритмичные вздохи моря. Столбы с фонарями, изогнутые знаками вопроса, склонялись к середине улицы, образуя арки, придававшие пустынной дороге некоторую торжественность.

Под шестой или пятой аркой, словно ожидая меня, сидел черный кот, как мне показалось, тот же, которого я выжи с площади. Но теперь он был не один, а в обществе белой пушистой кошки. Дождавшись моего приближения, они поднялись и пошли впереди бок о бок, неторопливо и важно, держась середины улицы. Их пышные хвосты, поднятые кверху, плавно, как опахала, покачивались из стороны в сторону.

Это зрелище было потешным и похожим на сказку. Я попал, вероятно, в кошачью страну, и послы кошачьего президента ведут меня к нему во дворец.

Мы шли мимо спящих дворов, к ним вели переброшенные через канавы узкие мостики. Дальше следовали кусты, за кустами заборы, неизбежные акации, туя, и лишь где-то на заднем плане сонно мерцали опрятные беленные домики.

Всюду шныряли кошки. Они парами сидели под мостиками, затевали возню в кустах, устраивали драки на черепичных



крышах, носились стаями вдоль заборов. Мои провожатые, словно сознавая ответственность своей миссии, на затаенных кошках внимания не обращали.

Незаметно мы добрались до конца аркады. Последняя арка была выходом в черную пустоту, не доходя до нее, посланцы кошачьего президента вытянули хвосты, махнули через канаву и исчезли в дыре под забором.

Я же пошел прямо. Темнота облепила меня черной густой краской. Шагов через тридцать оборвался асфальт. Я ступил с него вниз на что-то, неясно серевшее, но не рассчитал высоты и едва устоял на ногах; коснувшись нечаянно рукою земли, я почувствовал прохладную влажность песка.

Море было совсем рядом, его голос звучал в полную силу. Тяжелые медленные удары, и поглощающее их шипение волн, приглушенные стоны, едва различимые голоса и обрывки далекой чудесной музыки — все это, вместе с запахом водорослей, бескрайней воды и ветра, сливалось в единое острое чувство близости моря. Оно дарило освобождение, целебное и мучительное, заставляло память напряженно искать что-то очень нужное, давно забытое и потерянное, будило жгучую, непереносимую тоску по яркости жизни, по свежести и красоте ощущений, изначально даваемых каждому человеку, и потом незаметно и страшно его покидающих.

Глаза привыкали к мраку, и наверху одна за другой проступали звезды. Я пытался взглянуть вперед, в шумящую тьму, туда, где с рассветом должен обозначиться горизонт. Клочкотая мгла играла рваными белесыми нитями, от их назойливой неуловимости становилось не по себе. Но постепенно в их пляске возникал свой порядок, они вытягивались и выстраивались рядами. Потом они приближались, приносили плеск и шуршание, и где-то совсем близко размазывались серыми пятнами, обращаясь опять в темноту.

Я шагнул им навстречу, к невидимой той черте, о которую разбивались волны, и, присев, погрузил ладони в воду. Волна отхлынула, оставив на руках песок и шипящую пену, их тотчас же смыла другая волна и оставила новый песок и новую пену. Ласковость набегавшей воды холодила руки, от нее исходил покой, словно она растворяла щемящее чувство

беспредельности ночи.

Слева вдали, где рождались и пронизывали темноту серыми нитями все новые гребни волн, мигал огонь маяка. Короткие вспышки разделялись долгими паузами и, казалось, далекое это мигание, безнадежный упрямый призыв, имеет особую власть успокаивать, власть примирить с одиночеством.

Хорошо уже различая предметы, я нашел без труда дорогу, идущую к маяку. Глинистая, в ухабах и рытвинах, она иногда отдалялась от моря, иногда же волны докатывались до самой обочины.

Здесь был край города. Миновав несколько дворов, дорога вывела на пустырь. Временами мне удавалось разглядеть невысокие холмики, обломки камней, заросшие кустами остатки строений; от почвы поднимался жирный запах брошенного жилья, и я невольно ускорил шаги.

Дорога выбралась в степь и подалась ближе к морю, развалины кончились. Но впереди виднелось еще что-то белое, не то остаток стены, не то небольшая постройка.

Непонятный этот предмет помещался в отдалении от дороги, от него исходило ощущение нелепости, которое по мере приближения усиливалось. Оно-то и побудило меня свернуть с дороги и направиться к белющему уже близко пятну — форма его прояснялась, становилась все жестче, приближаясь к очертаниям пирамиды.

Я подошел вплотную — предмет оказался не только диковинным, но, пожалуй, и невероятным. На ступенчатом постаменте белого камня, чуть выше моего роста, на массивной плите из мрамора, или, может, известняка, покоилось что-то темное. Насколько угадывалась его форма, это было изваяние животного, оно еле заметно мерцало, отражая полировкой слабый свет звездного неба. Я обошел постамент кругом, пока не нашел точку, откуда мог разглядеть силуэт фигуры — какой-то большой зверь спокойно лежал, вытянув, словно сфинкс, передние лапы. Контур был странен — изящен и почти раздражающе текуч — то ли пантера, то ли гигантская кошка.

Слово "сфинкс" появилось в мыслях само собой, и теперь от него невозможно было избавиться: в очертаниях головы я

видел нечто неуловимое, но достоверно человеческое. Лица видно не было, оно пряталось в сплошной черноте, и все же на месте его мерещилось, словно плавало в воздухе, ускользающее от взгляда, сотканное из ночного тумана, задумчивое лицо сфинкса, безучастно глядящее вдаль женское лицо.

Не в силах сдержать любопытства, я зажег спичку. Ее слабый огонь выхватил из темноты голову изваяния — она была изуродована ударами, верхняя часть отбита, лицо покрыто выбоинами. Голова, как будто, была кошачья, но впечатление присутствия человеческих черт не проходило.

Когда догорела спичка, я почувствовал, что есть в этом месте какая-то жуть; словно умные и недобрые глаза ошупывали меня взглядом. Жутки не было в самом сфинксе, и в близине тесных плит тоже; и все-таки она тут скрывалась — скорее всего, в широких черных щелях меж камней пьестала.

На меня навалилась усталость, и задерживаться здесь не хотелось — как можно скорее я пошел прочь.

Когда я добрался до гостиницы, небо уже посветлело. Дверь была отперта, и кто-то внес мой чемодан внутрь; за стойкой сидела женщина с озабоченным усталым лицом. Она изучила мой паспорт и долго писала в конторских книгах, а я терпеливо ждал, опасаясь неосторожным движением спугнуть ее и вызвать задержку, и потом, когда она шла показывать мне номер, старался не отставать от нее ни на шаг.

2.

Проснулся я от шума прибора, он становился все громче, будил неотвязно и неумолимо. Волны его, красноватые и горячие, набегали из темноты, обдавали жаром и рассыпались клубами искр, которые медленно гасли и оседали на землю. Судорожным усилием я скинул одеяло, сел и открыл глаза.

Никакого прибора не было, а было лишь нестерпимо душно и жарко. Сквозь занавеску пробивалось солнце, лучи его падали на пол почти отвесно; с улицы доносились приглушенные голоса. Я добрался до окна и открыл его — тогда-то и хлынул в комнату настоящий зной, словно он давно поджидал,

когда же его, наконец, сюда впустят. Оставалось одно спасение: душ.

Он оказался тепловатым и вялым, но все равно это было поразительно приятно. Струйки воды уносили кошмар духоты, уносили остатки сна; казалось, вода во мне растворяет все, что способно испытывать тяжесть и беспокойство.

Когда я вышел из ванной, все еще в состоянии блаженного небытия, в кресле у стола сидел человек. Не проснувшись как следует, я не поверил в его реальность, но разглядел добросовестно. Загорелая, бритая наголо голова, белая тенниска, явно сшитая на заказ, четкая складка белых, чуть сероватых брюк — непонятно зачем, я про себя перечислил приметы видения.

Он улыбался — улыбались глаза, улыбались щеки, улыбался нос, губы и подбородок, и лица его я не мог разглядеть, как нельзя уловить форму слишком ярко блестящей вещи. Здесь была не одна, а целая сотня улыбок — приветливых и веселых, радостных, ласковых и еще бог знает каких. Он похож был на человека, который надел на одну сорочку сразу дюжину галстуков, и я удивился, что это не было противно; немного забавно, немного любопытно, немного утомительно, но не противно.

Он терпеливо ждал, когда я признаю его существование, а пока что руками старательно мял спортивного покроя кеги, словно извиняясь за то, что он весь такой холерный и глаженный.

— Нет, я не снюсь вам, поверьте, — сказал он просительно и как-то по-новому заиграл своими улыбками, — я действительно существую, поверьте пожалуйста!

Был на нем отпечаток неуязвимости, казалось — упали он с самой высокой горы, прокатись по самым зазубренным скалам — и тогда с ним ничего не случится, не появится ни пылинки, ни пятнышка; но и это было не противно.

Он отчаялся, видимо, доказать свою материальность; на мгновение улыбка его сползла куда-то к ушам, и в глазах мелькнула беспомощность.

— Вронский! — он поднялся и шагнул мне навстречу. —

- Сценарист, Юлий Вронский!

- Здравствуйте, я догадался, - соврал я, в виде ответной любезности, - но как вы узнали, что я приехал?

- В этом городе новости порхают по воздуху, здесь все всё про всех знает, - тут он внезапно напустил на себя серьезность, то есть оставил одну только дежурную приветливую улыбку. - Но сначала обсудим дела: мне отвели целый дом - я хочу вам уступить половину. Вид на море, собственный вход и никаких консержек!

Обсуждать было, собственно, нечего. Я застегнул чемодан и взялся за ручку, но мой новый знакомый остановил меня:

- Зачем вам носить тяжести? Отправим за ним кого-нибудь!

- Гм... - только и нашелся я, но послушался.

Мы вышли на улицу. Город, пыльный и серый, залитый беспощадным солнцем, выглядел скучно и не имел ничего общего с карнавальным городом вчерашней ночи.

Пока мы шли через центр, мой спутник все более меня забавлял. Прохожих почти не было, и все же он дважды поздоровался с кем-то. Он показал мне почту, редакцию местной газеты, городской совет и райком. Помахал кому-то в окне больницы и довольно приятельски поздоровался с седым и важным шофером "газика", дремавшим за рулем у райкома, которого тут же и послал за моим чемоданом.

- Вы давно здесь? - спросил я, как мог, осторожнее.

- С неделю, - он улыбнулся самой виноватой из своих улыбок.

Наш дом оказался вблизи от берега, предпоследним на пыльной, полого спускающейся к морю улице. Глинобитный, прохладный внутри, он был окружен акациями, за перила веранды цеплялся усиками одичавший виноград. У крыльца стояла скамейка с литыми чугунными ножками - из тех, что бывают в городских скверах.

Мне на долю прилась комната со скрипучим крашеным полом, соломенными плетеными креслами и необъятной кро-

ватью; в одном из окон виднелась, сквозь резные ветки акации, узкая полоска черно-синего моря.

Когда мы подходили к калитке, на балконе соседнего дома показалась пышная миловидная дама в голубом; на перилах, от нее слева и справа, сидели две раскормленные белые кошки. Вронский сорвал с головы кепи и отвесил глубокий поклон:

— Амалия Фердинандовна! Вот ваш новый сосед!

— Я почтмейстерша! — объявила она, голос ее был неожиданно высоким и мелодичным. — По утрам я пою и играю на рояле, вам придется это терпеть!.. Хотите иметь очаровательную сожительницу? — она положила руку на спину правой кошки, та при этом нахально зевнула и облизнулась.

— Нам не справиться с ней! — быстро ответил Вронский.

— Ну конечно, как же вы можете справиться! — она одарила нас трелью серебристого смеха и, протянувши к подоконнику руку, сорвала и кинула нам цветок.

Он слетел к нам оранжевой бабочкой — это была настурция. Не знаю, в кого она метила, но попала во Вронского; он секунду подержал цветок на ладони и бережно вдел в петлицу.

По вступлении в дом Вронский сделался деловит. Он провел меня по всем комнатам, показал чердак и заставил взойти по наружной лестнице в крохотный мезонин, где была лишь продавленная кушетка и в углу кипе старых газет. Завершилась экскурсия в кухне осмотром водопровода и умыванием, чтобы идти в ресторан обедать. Настурция Вронского успела завять, он вынул ее из петлицы и аккуратно опустил в помойное ведро.

В ресторане, на втором этаже безобразного бетонного куба, каким-то строительным чудом оказалось прохладно.

Понятно, что Вронского тут знали все, от директора до швейцара. Его энергия была неистощимой: не успели мы заказать обед, как он потащил меня в бар, знакомиться с барменшей. Она показалась мне очень красивой; длинная черная коса и провинциально-добродетельный вид плохо вязались с ее званием. Вокруг нее громоздились бутылки, она же читала

книжку, вертя в руке штопор, которым довольно лихо при нас перелистнула страницу.

- Елена, познакомьтесь пожалуйста, - Бронский осыпал ее целым ворохом галантных улыбок, но ответная улыбка при этом была достаточно сдержанной, так что она, надо думать, знала цену своим улыбкам, - это Константин, профессор из Ленинграда!

- Лена, - навалась она, соблюдая собственный ритуал знакомства, и протянула мне руку через высокую стойку.

- Очень приятно, - сказал я, - только я не профессор.

- У себя он называется научным сотрудником, - пояснил Бронский, - но для простых людей, вроде нас с вами, это одно и то же! Он изучает море и знает все, что о нем можно знать!

Она посмотрела на меня чуть внимательнее, и в ее взгляде мне почудилась настороженность:

- Какая у вас... беспокойная профессия...

- Юлий Николаич! - донесся из зала низкий голос официантки. - Идите, а то остынет!

Болтая о всякой всячине, мы успели приняться уже за вторую бутылку рислинга, когда Юлий отставил вдруг свой фужер. На лице его изобразилось радушие, и правая рука, приготовленная к рукопожатию с кем-то, мне невидимым, поднялась к плечу, и внезапно он стал похож на разбитного телевизионного комментатора:

- Рад приветствовать хранителя города!..

За моей спиной приближались тяжелые шаги, и голос, такой же тяжелый и чуть хрипловатый, ответил:

- Здравствуй, Юлий.

Шаги подошли вплотную, и теперь их источник был в поле моего зрения. Он сел рядом с Бронским, напротив меня и, судя по тому, с какой тщательностью обходил стол, был уж порядком пьян. На нем был темносерый пиджак и белая крахмаленная рубашка с расстегнутой верхней пуговицей. Глаза, серовато-голубые, безразлично смотрели в разные стороны; подбородок, граненый и резко очерченный, жил самостоятельной жизнью, он шевелился все время, иногда на секунду за-

держиваясь, не то осматривая, не то ошупывая что-нибудь. Казалось, глаза его с подбородком составляют особый рассматривающий механизм, он сейчас неналажен и пьян, но в другое время, наверное, ощущение не из приятных — быть объектом его изучения.

— Майор Владислав Крестовский! — церемонно произнес Юлий.

Майор специальным усилием навел на меня глаза, взгляд был мутноват и нетверд.

— Здравствуйте, профессор! — подбородок его тем временем успел проследить за скользнувшей мимо официанткой.

— Я не профессор, — сказал я вяло.

Глаза его на мгновение разбежались по сторонам и тотчас вернулись на место, их взгляд стал ясней и тверже, как будто там, в механизме, что-то подрегулировали. Он сунул руку в карман и вытащил сложенную газету, беловатым массивным ногтем подчеркнул нужное место, прорвав при этом бумагу, и протянул газету мне.

Подчеркнут был заголовок "Содружество кино и науки".

"Как сообщалось, наш город скоро станет съемочной площадкой для нового фильма об ученых-исследователях морских глубин. Неделю назад... автор сценария Ю. Вронский... сегодня... научный консультант фильма профессор К. Козловский... руководить... наблюдать..."

— Теперь вас можно называть "пан профессор"?

— Ни в коем случае! Ведь вам не понравится, если я буду вас величать полицмейстером?.. К примеру...

— Отчего же, пан профессор? Вы меня — полицмейстером, а я вас — профессором... — у него закружилась, видимо, голова, он откинулся в кресле и закрыл глаза, — безобиднейшая игра... пан профессор... — пробормотал он с трудом, — а всем другим... запретим... слышишь, Юлий?

Через минуту он выпрямился и поманил пальцем первую попавшуюся официантку, длинноногую девицу в слишком короткой юбке и с фиолетовым маникюром:

— Фу, какой стыд, Лариса! Чем ты поишь столичных гостей?.. Водки, и очень холодной! — от пьяной его угрюмости



ничего не осталось, и в речи была лишь начальственная непринужденность.

Спустя тридцать пять секунд, как одобрительно объявил девице майор, на столе стояла запотевшая бутылка.

- Ваше здоровье, пан профессор! - он тут же опять налил рюмки, и последовал тост за здоровье Юлия, а затем и самого майора. Это было невероятно, но от водки он трезвел на глазах и сделался вскоре весел и оживлен в разговоре.

- Кстати, профессор, вы рано отложили газету: тут еще кое-что любопытное... Вот, извольте... Хотя лучше я вам прочту, все подряд слишком длинно... вот! Юные следопыты... в окрестностях города... памятник животному кошачьей породы... обратились к старейшему жителю нашего города, - не прерывая чтения, он бросил на меня короткий взгляд, совершенно трезвый и точный, как щелчок фотографического затвора, - и вот что рассказал детям почтенный старец... Давно, давно это было, мы воевали, и был страшный голод, а мы не сдавались... нет, не сдавались... А потом к нам прибило шхуну без парусов и мачт, и все трюмы были полны продовольствием... да, до самого верха... И тут из продуктов, прямо из кучи выпрыгнул черный кот с колбасой в зубах, он ее растерзал, упал и забился в судорогах! Все продукты оказались отравлены, и мы есть их не стали... нет, не стали... А ко ту поставили памятник - он и стоит до сих пор.

- Вам повезло, - ухмыльнулся Юлий, - ваш редактор большой шутник! Это редкость в провинциальной газете!

- А вы, пан профессор, тоже так думаете?

- Не знаю, не знаю... Но вы-то ночью - следили за мной, что ли?

- Я ни за кем не слежу, пан профессор. Но моя обязанность, - голос его стал служебно-скудным, - знать все, что происходит в городе... особенно по ночам.

У меня пропала охота продолжать разговор - майор казался теперь зловещей фигурой. Недурное знакомство... Чтобы ускорить развязку, я разлил по рюмкам остатки водки.

Майор молча выпил, и взгляд его опять помутнел. Он медленно качнулся вперед и повалился на стол.

- Почему п...пан пп... почему он боится меня?.. - язык его еле ворочался, - Юлий сс...скажи ему... что я не опасен...

- Он не опасен, - бесцветным голосом повторил Юлий, его начинала раздражать эта сцена.

Майор опустил голову на руки, он был безнадежно и окончательно пьян. Мы помогли ему спуститься по лестнице и сдали с рук на руки милиционеру, сидевшему за рулем его машины.

3.

Так у нас дальше и повелось, что дневные часы мы просиживали в ресторане. В неподвижной жаре делать что-нибудь было трудно, и мы вскоре заметили, что большинство наших знакомых старается в эти часы отсыпаться. Одни уходили на два-три часа обедать домой, другие, задернув шторы, укладывались на кожаные диваны в своих служебных кабинетах, или даже спали, посапывая, за столами в рабочих креслах.

Юлий же, как и я, не любил спать днем, и мы не принимали участия в этой всеобщей сиесте. Он вообще спал немножко, ложась очень поздно, в три, а то и в четыре, вставал не позднее, чем в десять, и если днем начинал уставать, то пристраивался где угодно подремать четверть часа, после чего, протеревши, как кошка, глаза и щеки рукой, становился опять свежим и улыбающимся.

Обычно после полудня, искупавшись в море, мы занимали свой столик и тянули холодное пиво, либо сухое вино; под успокоительный шум кондиционера Юлий читал мне отрывки сценария, где герои фильма рассуждали на научные темы, или расспрашивал об океанографических терминах, выбирая из них самые звучные.

Юлий вскоре открыл удивительное свойство стеклянной стены ресторана, выходящей на площадь. Сквозь двойные толстые стекла, защищающие от жары прохладный искусственный воздух, снаружи не проникало ни звука, и этим мы, будто шапкор-невидимкой, исключались из жизни города, становились ее изумленными наблюдателями, словно смотрели в океан

из иллюминатора батисферы. Стоило подойти к этой прозрачной стене, и площадь превращалась в волшебный театр. Самые простые события уличной жизни становились чудом, все двигалось плавно, в непонятном нам, но завораживающем ритме медленного танца. Автомобили не мчались, а проплывали под нами, и не было ощущения, что они плавают быстрее людей. Те же передвигались легко, без усилий, казалось, они шевелят тихонько невидимыми плавниками и, не зная усталости, беззаботно, без всякой цели перемещаются в пространстве, не имеющем границ и пределов.

Если там, внизу, встречались две женщины, то еще задолго до того, как они заметят друг друга, мы видели, что они должны встретиться, видели, как они вслепую ищут одна другую. Они нерешительно останавливаются, бестолково сворачивают в стороны, и вдруг, обе сразу избирают нужное направление и плывут навстречу друг другу. Но и теперь у них встретиться нет почти никаких шансов, слишком уж необъятным пространством кажется площадь, слишком бесцельными их движения. Они снова плывут неправильно, видно, что они разминутся, проплывут мимо — но тут случается чудо. Одна из них неожиданно описывает крутую дугу, и вот они уже рядом, радостно трепеща плавниками, толкуются на месте, слегка поворачиваясь и покачиваясь, и медленное течение их увлекает куда-то уже вдвоем. Удаляясь все с той же плавностью, они исчезают из поля зрения.

А если на площадь выезжает телега с лошадью, это уже целое цирковое представление. Телегу не нужно тащить, она едет сама, и лошадь лишь ведет ее за оглобли, как за руки, и это не стоит ей ни малейших усилий. Она не идет, а танцует. Она поднимает переднюю ногу и застывает внезапно, и колеса телеги вдруг перестали вертеться, но и телега, и лошадь попрежнему плывут вперед; копыто снова ставится на асфальт, снова пауза, и опять не случается ожидаемой остановки. Хочется приглядеться, понять секрет этого удивительного движения, но они уж проплыли дальше, по горбатой улице вниз, и скрываются за горбом ее медленно, как корабль за морским горизонтом.

Этот необычайный театр нам никогда не надоедал, и

именно отсюда мы наблюдали прибытие компании, невольно доставившей нам, а в конечном итоге, и всему городу, немалое беспокойство.

Они въехали в город в томительное предвечернее время, после пяти, когда в лучах солнца появляются первые красноватые оттенки и первые признаки усталости; в это время все неподвижно, и не бывает ветра, и все, что плавилось и теряло форму в дневной жаре — и асфальт, и дома, и деревья — теперь готовится застыть в ожидаемой прохладе, словно боится шелохнуться, чтобы не затвердеть в случайном неловком движении, подобно потревоженной сырой гипсовой отливке. В этом напряженном равновесии, знаменующем скорое преобразование для новой жизни переплавленного жарой мира, не хочется даже вслух разговаривать, и тем более кажется неуместным, почти невозможным, вторжение новых предметов или людей. И все-таки они появились именно в это время.

Их светлый автомобиль — я воспринял его вначале как белое пятно, а на самом деле он был песчаного цвета — старый виллис со снятым верхом, возник на дальнем краю площади и приближался медленно, как шлюпка или катер к незнакомому берегу. Он остановился точно под нами, и было полное впечатление, что там внизу причалила моторная лодка; ее пассажиры, будто, медлили выходить. На переднем сидении я видел две белые кепки; левая на секунду склонилась к рулю, а правая медленно обернулась к площади, потом они обе повернулись козырьками друг к другу, словно совещаюсь, стоит ли высаживаться на этот берег. На заднем сидении тем временем оставались совершенно неподвижными темнорусая женская голова, и справа от нее, что-то пестрое, черно-желтое, в чем я не сразу признал большую собаку, по-видимому, тигрового дога.

Владелец левой кепки первым ступил на землю. Он отошел в сторону, поджидая своих спутников, и я мог его разглядеть. Невысокий и худощавый, резкий в движениях, он нетерпеливо оглядывался кругом, словно ему предстояло сейчас принимать во владение, или завоевывать этот город.

Второй мужчина, более высокий и плотный, с рыжей подстриженной бородой, рассеянно глядя в землю, обошел автомобиль вокруг и открыл заднюю дверцу, чтобы выпустить женщину.

Но она продолжала сидеть неподвижно, и наступила странная пауза. Бородатый спокойно ждал, все с тем же рассеянным видом, а его спутник, напротив, нервно переступал тощими ногами в серых вельветовых брюках, как скаковая лошадь, принужденная стоять на месте.

Наконец, женщина повернулась и, опершись на предложенную ей руку, спустилась с подножки. Держалась она очень прямо и чуть запрокинув назад голову, как часто держатся женщины, привыкшие скрывать внутреннюю усталость; по спокойной уверенности движений, мне казалось, она должна быть моложе обоих мужчин и хороша собой.

Покинув машину, все трое направились к тротуару и исчезли под козырьком ресторанного входа. За все это время дог не проявил ни малейшего интереса к действиям своих хозяев, и остался теперь невозмутимо сидеть, ничего не удостоив из окружающего — ни площадь, ни дома, ни прохожих — даже беглого осмотра.

Позади меня слышались оживленные возгласы и возник разговор, в котором участвовал приветливый баритон Юлия. Я не оглядывался, не желая отрываться от выделяющейся на фоне асфальта черно-рыжей фигуры пса, торжественно и важно несшего свое одиночество. Вскоре, однако, Юлий меня окликнул, и мне пришлось отойти от стекла.

Те трое уже были здесь. Они успели умыться и слегка привести себя в порядок, и не были больше похожи на чужестранцев, только сейчас сошедших на берег — просто трое приятного вида людей, удобно одетых по-дорожному. Они, как и Юлий, были в радостном возбуждении — видно, с кем-то из них он был в давнем знакомстве — и, как только он представил меня, я окунулся в море радушных улыбок и взглядов.

Они все по очереди протянули мне руки — Наталия, Дмитрий и Дмитрий — и мы принялись устраниваться за столиком. Началась суматоха, какая всегда получается, когда люди хотят случайную ресторанную встречу превратить в праздник. Особенно усердствовал Юлий и бородатый Дмитрий, которого женщина, Наталия, именовала Димой, в отличие от второго, худощавого, называвшегося Димитрием.

Наш стол через полчаса был уставлен бутылками, и офи-

циантка теперь приносила всякую снедь, веселая и счастливая, как будто обслуживала не компанию приезжих, а свадьбу любимой подруги.

Я старался включиться в атмосферу всеобщего радушия и поддерживал общий, дружелюбный и нарочито простой разговор о крымских винах и мелких дорожных происшествиях, но не мог отделаться от тайной досады — бессмысленной и несправедливой по отношению к этим милым людям — словно они собирались посягнуть на мое душевное спокойствие.

Юлий взял на себя роль распорядителя — ему нравилось в шутку изображать из себя здешнего старожила, почти коренного жителя города. По просьбе его на столе официантка поставила чуть не дюжину лишних рюмок, и он наливал нам разные вина, попутно рассказывая о них, словно читал лекцию в дегустационном зале. Профессионально-приятный тембр его голоса действовал умиротворяюще, хотя я вслушивался только урывками.

— ...он бродил у монастырских развалин, собирал одичавшие лозы, и коллеги объявили его помешанным... диссертацию ему провалили. Но судите сами, — в рюмки лилось вино, тяжелое, темнокрасное, с терпким запахом листьев черной смородины, — вот чем причащались монахи тысячу лет назад...

На столе появилось шампанское — его охлаждали специально для нас, ибо, как неходкий товар, постоянно в холодильнике не держали.

— Итак, — Юлий поднял бокал, взявшись двумя пальцами за длинную тонкую ножку, — добро пожаловать в наш кошачий город!

Он успел своими речами внушить нам почтительное отношение к винам, и все пили шампанское медленными маленькими глотками, словно участвуя в важном ритуале.

— А что, действительно, город кошачий? — лениво поинтересовался бородатый Дмитрий, Дима.

— Неужели вы не заметили? Этим городом правят кошки, у них есть даже памятник неизвестной кошке!

— Прекрасно, — засмеялась Наталия, — а теперь мальчишки соорудят памятник здешней самой известной кошке, и кошачий король назначит одного из них министром!

- Не иначе, министром культуры! - хихикнул худоцавый Димитрий.

- Не смейтесь над местной властью, - строго сказал Юлий, - иначе вас заколдуют в кошек, и у вас отрастут усы и хвосты!

- Что ж, - поднял бокал Дима-бородатый, - пьем за усы и хвосты!

Я поднес мой бокал к глазам и смотрел сквозь него на Юлия - улыбка его расплылась вширь и стала янтарно-желтой, заострились и вытянулись вверх уши, прищурились и перекосились глаза - кошачье лицо, кошачья улыбка... почему же я раньше не замечал, как он похож на кота...

Он отклонился влево, к бородатому Диме, и стал прежним, привычным Юлием, но кошачьи черты остались в его лице, осталась кошачья улыбка, и выражение глаз.

Поддаваясь дурному соблазну, я передвинул бокал - и увидел на месте Димы добродушного большого кота, а позади него, за соседним столиком, тоже маячили кошачьи физиономии.

Думая, что я его приглашаю выпить, Дима взял свой бокал, взял округлым кошачьим жестом, кивнул мне и улыбнулся, и это у него вышло тоже по-кошачьи. Я опустошил мой бокал, надеясь вернуться в нормальный мир, но исчез лишь янтарный цвет, а за всеми столиками сидели по-прежнему кошки, кошачьи лапы держали рюмки, кошачьи глаза оглядывали соседей, и топорщились кошачьи усы.

Я старался не смотреть на Наталию, сидящую рядом со мной, не желая, чтобы с ней случилось такое же превращение. Она же с интересом следила за моей игрой с бокалом, и заговорила первая:

- Эта игра опасная... и даже очень опасная, сквозь шампанское можно увидеть страшные вещи... Лучше налейте мне чего-нибудь крепкого, и себе тоже...

К счастью, в ее лице ничего кошачьего не было. Взгляд у нее был открытый, доверчивый и веселый, и хотя веселье ее выглядело чуть напускным, я в нем видел желание развлечь меня, и это радовало.

После я вспоминал с удивлением, как парадокс, что она мне тогда в ресторане не показалась красивой. Впрочем, я

чувствовал, что другие воспринимают ее как очень красивую женщину, и она, помимо собственной воли, всегда представляется для мужчин приманку.

- Расскажите о кошках, - попросила она, - их и вправду здесь много?

На другой стороне стола шел разговор о делах - оба Дмитрия, как я понял, не случайно расположились около Юлии и, то ли советуясь с ним, то ли ожидая помощи, наперебой рассказывали о своих неурядицах. Через стол долетали обрывки их разговора:

- ... заказ был, проект утвердили, даже макет одобрили... А он говорит, договора нет, разбирайтесь сами!.. Жалко, большой заказ... Положение-то безвыходное!

Несмотря на увлеченность своими делами, они время от времени бросали на нас короткие взгляды, точнее, на Наталью, которая была центром притяжения в их компании; она же, как будто, полностью поглощена была моими рассказами о ночном городе и первом знакомстве со сфинксом.

Слушать она умела удивительно хорошо - слушали глаза, слушали чуть приоткрытые губы, слушали мягкие каштановые волосы; мне казалось, в зале нет никого, только она да я, и рассказывать ей было так приятно, что я все не мог остановиться, хотя опасался, что говорю слишком много.

- Как интересно... - ее глаза и губы на миг округлились по-детски, - меня кошки всегда привлекали... как символ... символ домашнего очага и символ загадки... а как они ходят, лежат, как вытягивают лапы - предельный уют и предельная дикость... удивительное соединение... - она говорила с паузами, как бы думая вслух, и от этого возникало впечатление совершенной открытости и полного понимания друг друга. Значительно позднее я понял, что это была своего рода изысканная любезность по отношению к собеседнику, но тогда - тогда мне казалось неожиданным для обоих подарком судьбы возникшее между нами прелестное общение. Я думал, как хорошо, что она не кажется мне слишком красивой, иначе я был бы поработен ее чарами, и настал бы конец спокойной жизни. И думая об этом, я уже любовался необычайной красотой ее лица и слушал ее, стараясь не упустить ни одной ин-



тонации, ни одного оттенка.

- Кошка - она ведь совсем домашняя, ее можно погладить, она теплая и пушистая... и она же - совершенно чужая и непонятная... сколько презрения кошка может вложить в один взгляд... или в поворот головы... никакое другое животное... да и человек тоже, пожалуй...

- Наталья! Отзовись же, Наталья! - громко прервал нас Димитрий, и в голосе его были нотки пьяной нервозности. - Как вы, однако, увлеклись разговором! Мы хотим перебраться в дом, - он обернулся ко мне, - а вы не против?

- Да-да, - сказал Дима, - пойдёмте... только мы как-то странно... давайте выпьем и все перейдем на ты! - он взялся за ножку рюмки.

Наталия на него посмотрела внимательно, словно с сомнением, медленно подняла свою рюмку и выпила вместе со всеми.

В ту ночь в нашем доме мы все перевернули вверх дном. Вытащили на улицу стол и расположились в саду с керосиновой лампой. Рядом под деревом выстроилась батарея неизвестно откуда взявшихся бутылок.

Прежде чем продолжать выпивку, сказала Наталия, нужно устроить для всех ночлег, и мы с Юлием при свечах показывали гостям дом. Наталия облюбовала для себя мезонин, и пачки газет из него мы выкидывали сверху прямо на землю, не утруждая себя ходьбой вверх-вниз по лестнице.

Димитрий варил кофе по известному лишь ему рецепту, и от кофе мы стали как будто немного трезвее, но ненадолго.

Снова начались тосты. Дима сел рядом с Наталией и, взяв ее за руку, что-то нашептывал на ухо, я же, словно первый симптом опасной болезни, ощутил укол ревности, и радовался равнодушному выражению ее лица. В ответ на какие-то его слова она отрицательно покачала головой, после чего он обиделся, налил себе полный стакан водки и, отвернувшись к Юлию, затеял с пьяным азартом разговор опять о делах, насколько я мог понять, о памятнике, который они с Димитрием должны были, или хотели, сделать для города.

Кто-то придумал пойти посмотреть сфинкса, и мы все вме-

сте ходили к морю. Вода была теплая, и всем захотелось купаться, но в море почему-то полезли только Наталия и я.

Мы заплыли с ней далеко, она плавала быстро, и я сильно запыхался, стараясь не отстать от нее. Когда, наконец, она остановилась, берега не было видно, и огни города светящейся цепочкой осели на горизонте. На невидимом темном мысу редко мигал маяк, и вода приносила откуда-то еле слышный плеск.

- Давай полежим немного, - попросила она, - лежи тихо-тихо, тогда будешь слышать меня.

Я лег на спину, и тишина наполнилась гулом, шуршанием и звонкими всплесками... как много звуков в воде...

Сквозь журчание доносился ее голос, далекий и приглушенный, как слышатся голоса во сне:

- Я люблю так лежать и смотреть на звезды... смотри, они сразу спускаются к нам... или мы к ним проваливаемся...

Она замолчала, я слышал теперь лишь журчание сонной воды. Двигая ~~еще~~ осторожно рукой, я нашел ее руку, и она мне ответила легким пожатием пальцев:

- Это зрелище меня завораживает... и даже преследует... иногда по ночам мне кажется, что стены и потолок исчезают, и надо мной звездное небо... это мое давнее-давнее, еще детское ощущение... я тогда верила, что на звездах живут ангелы...

- Ты, наверное, сама была похожа на ангелочка?

- Нет, я была самым обыкновенным ребенком, - она попыталась высвободить свою руку, но я мягко ее удержал.

Я молчал, не зная, как загладить мою неловкость, и она поняла это.

- Кажется, нам пора удирать. Слушай! - она сжала мои пальцы, и, задержав дыхание, я услышал рокот мотора.

Сначала совсем тихий, он вытеснил скоро все остальные звуки. Приближаясь, и опять удаляясь, источник его кружил поблизости, словно искал нас или, хуже того, охотился за нами. Потом мы его увидели - вдоль берега шел пограничный катер, медленно обшаривая прожектором прибрежную полосу. Мы были, к счастью, от него далеко, и слепящий прожекторный луч скользнул рядом с нами лишь мимоходом, превратив на

мгновение воду в белесую светящуюся эмульсию, у поверхности которой мы плавали неподвижно, как оглушенные взрывом рыбы.

Мы плыли назад не спеша, и вода не казалась холодной, но на берегу сразу замерзли. Наталия по дороге домой опиралась на мою руку, и даже сквозь ткань рубашки я чувствовал, какая ее рука холодная. У мостика через канаву мы вспугнули несколько кошек, они порскнули у нас из-под ног, как выводок куропаток, и Наталия, вздрогнув, придвинулась теснее ко мне, словно ища у меня защиты.

Дома она очень скоро захотела лечь спать, и я пошел ее проводить со свечкой по шаткой лестнице: электричества в мезонине не было. Она выглядела усталой и бледной, и наверное, ей было не до меня, но когда я наклонился поцеловать ее на прощанье, она доверчиво подставила губы.

Юлий и оба Дмитрия были изрядно пьяны, особенно Дима. Он играл на гитаре и пел, вообще, видимо, неплохо, но сейчас путал слова и часто сбивался с ритма.

Всех лучше держался Юлий. По нему незаметно было, что он много выпил, разве что говорил медленнее обычного и особенно тщательно произносил окончания слов.

- Пока вы изображали с Наталией тритона и nereиду, - он сделал паузу, сосредоточившись полностью на том, что наливал мне в стакан из двух бутылок сразу, - мы были у сфинкса. И решили все вместе исследовать, - он сбился вдруг на пьяные интонации, - все-таки интересно, откуда он там взялся и зачем стоит?

На меня, как в начале вечера, нахлынуло беспричинное раздражение.

- Сколько помню себя, я всегда что-то исследовал... и все знакомые тоже исследовали... а сюда я приехал, чтобы ничего не исследовать...

Дима отложил гитару и, глядя на меня недоверчиво, пожалуи, даже угрюмо, взял свой стакан:

- Ну и л-ладно, - он говорил с трудом, - а м-мы все р-равно пьем за д-дух исследования!..

Он встал и, заметно пошатываясь, направился к дому. Споткнувшись около клумбы, он чуть не упал, но Юлий догнал его вовремя, и в обнимку они удалились.

Димитрий дремал за столом, положив голову на руки — я его растормошил и отвел в мою комнату спать.

4.

После слишком обильной выпивки спалось плохо, и проснувшись с восходом солнца, я заснуть уже больше не мог.

Первым ощущением, еще полусонным, было ощущение радости, ощущение, что со мной случилось что-то очень хорошее — и, просыпаясь, память дала этому имя: Наталия.

Из-за штор доносилось рассветное щебетание птиц, я представлял, как там, на улице, все свежо и прохладно, и думать об этом было беспокойно и радостно.

На кровать ночью я уложил Димитрия, и хотя там могло поместиться еще не менее двух человек, постелил себе на полу, испытывая отвращение к снанию в одной постели с мужчинами. Сейчас он тихонько храпел, лежа на спине и раскинув руки, и лицо его сохраняло нервно-сосредоточенное выражение.

Хотелось пить. Стараясь не скрипеть половицами, я выбрался на крыльцо и, ежась в тени от холода, спустился в сад. На столе громоздились остатки ночного пиршества, и на всем — на бутылках, на рюмках, на яблоках и помидорах — блестели матовые капли росы. Между стаканами ползали муравьи, растаскивая хлебные крошки, а вокруг красной лужицы у опрокинутой рюмки сидели желтые бабочки и, чутко вздрагивая полураскрытыми крыльями, тянули хоботками густое вино.

Интересно, как летают пьяные бабочки?.. Я осторожно протянул руку — мне почему-то казалось важным не спугнуть бабочек — и налил полный стакан из первой попавшейся бутылки.

Я решил пойти искупаться, и обнаружил почти у калитки, что несу с собой недопитый стакан — мне пришло в голову поставить его на окно. Но он стоять не хотел, и под ним я нащупал посторонний предмет, словно мне предлагалось что-то в обмен на пустой стакан. Ставши ногой на карниз, я подтянулся — в комнате было светло, Димитрий попрежнему спал, а перед моими глазами лежала бумажка, прижатая к подокон-

нику камнем.

Листок был из школьной тетради, а почерк — крупный и круглый: "Ваши друзья здесь ничего не добьются. Посоветуйте им уехать. Очень прошу вас, пожалуйста, уничтожьте эту записку".

Какая глупая шутка... Но в заключительной просьбе была нотка искренности, и следуя непонятному импульсу, я достал из кармана спички.

Воздух был так спокоен, что пламя не колебалось, и хлопья пепла медленно плыли к земле. Какая, однако, глупость... спасибо еще, что не просят проглотить пепел...

Прохожих на улице не было, и за заборами тоже — ни звука, ни шевеления. Даже ночью не бывает так пусто... А, вот оно что — нет кошек, по ночам полно кошек... Какой странный город — пустой и спящий в лучах восходящего солнца, под золотистым высоким небом... Словно за ночь исчезло в нем все живое... Я, единственный живой человек, гуляю в вымершем городе...

С некоторым усилием я отогнал нелепые мысли. А все-таки... может быть, рассказать о дурацкой записке?.. Пожалуй, не стоит... Неприлично как-то и глупо...

Море было полно покоем и светом. С тихим плеском вода набегала на упругий мокрый песок и ласково гладила его глянцевитую поверхность, словно уговаривая песчинки не шевелиться, не замутить ее сияния и прозрачности. Утренняя нарядность моря дарила спокойную радость, и мне виделось в ней обещание необычайного и близкого счастья, естественно-го, как игра света в воде.

Я вышел к берегу там же, где мы были ночью — две цепочки следов шли через влажный пляж, шли совсем рядом, и я радовался, что они друг к другу так близко, и шаги у них совпадают. Следы в песке успели заплывть и стали всего лишь бесформенными ямками, но для меня они были драгоценным свидетельством, подтверждением, что вчерашний вечер и ночь не пригрезились мне во сне и не придуманы мною.

Когда я вернулся домой, все следы ночного разгрома были уже ликвидированы. В саду никого не было, и дом вы-

глядел, как пустой. Я рассеянно поднялся на крыльцо и открыл дверь своей комнаты — у стола сидела Наталия, сидела с ногами в кресле и пришивала на чем-то пуговицу. Она встретила меня по-домашнему урной улыбкой:

— Мальчики удалились вести переговоры с властями, и Юлий с ними. А я занялась хозяйством.

Отбросив шитье, она накрывала стол к завтраку, и я удивлялся тому, как она все красиво делает. И накрытый стол, и сама процедура завтрака казались мне совершенными произведениями искусства.

— У нас неприятность... — улыбка ее стала грустной, а взгляд — усталым, и мне показалось, что усталость и грусть пришлись на слова "у нас", а не "неприятность".

Но она тотчас вернула своим глазам сияние и беззаботность:

— Убежал куда-то Антоний, никогда с ним такого не было... Он всю ночь беспокоился, носился по комнате, даже лаял два раза, не давал им с Юлием спать, и Дима его выставил... а утром его уже не было.

Я искал подходящие слова сочувствия, но все, что наворачивалось на язык, было неловким и недостаточно искренним.

— Они с Димой последнее время вообще плохо ладили... Дима умудрялся с ним ссориться, иногда мне казалось, у меня просто двое детей... особенно он не любил, когда Дима пил много, а вчера, как назло...

Они возвратились скоро, когда был готов чай. Наталия принесла чашки и переставила что-то, и сразу же, незаметно и ловко, превратила стол для завтрака на двоих в нарядный веселый стол для утреннего чая целой компании.

Я достаточно знал уже Юлия, чтобы по его вежливым и коротким фразам понять, насколько он раздражен. А оба Дмитрия были попросту в бешенстве.

— Это же обезьяны, — желчно цедил Димитрий, — вообрази, Наталья, они от всего отказываются! А глаза тупые, как медные пуговицы! "Подождите главного архитектора"... Ждать неделю еще одного павиана — он-то окончательно и откажет!

Теперь я жалел, что сжег утром записку. "Ваши друзья здесь ничего не добьются. Посоветуйте им уехать"... Неужели

ли за этой дурацкой шуткой скрывалось что-то серьезное?.. Сказать им об этом сейчас?.. Бесполезно... только взбесятся еще больше...

Дима не мог усидеть за столом, он отставил стул и ходил из угла в угол, глядя в пол и стряхивая пепел своей сигареты куда попало. Упоминание об архитекторе взорвало его окончательно:

- Нет уж, к чертовой матери! Этого еще не хватало! Допиваем чай и грузим машину!

Меня охватила настоящая паника. Не может, не может она так уехать... Вот оно что, я уже без нее не могу обойтись... да, так и есть... без нее будет пусто... она знает важное что-то... очень важное для меня... как жить... И вдруг вот так - сесть в автомобиль и уехать... Не может этого быть...

По-видимому, все это было написано у меня на лице, потому что Наталия бросила мне предостерегающий и, как мне показалось, обнадеживающий взгляд. Очень короткий взгляд, но он мне надолго запомнился - в нем была и тоска, и жалость ко всем нам, и обещание не бросить меня здесь одного, и за всем этим - безграничный и глубокий покой, от которого становилось страшно, ибо от него теряли реальность окружающие предметы и становилось бессмысленным всякое движение. И он же, этот покой, обладал неодолимой притягательной силой. Она знала о жизни что-то очень-очень важное, что-то, без чего я уже, казалось, не смогу жить.

Димитрий и Дима смотрели выжидательно на Наталию, словно признавая за ней право на окончательное решение.

- Значит, ты предлагаешь, - сказала она ровным голосом, таким ровным, что он словно резал пространство на части идеально точными плоскостями, - немедленно ехать и отказаться от поисков Антония?

- Вот, и это еще! - лицо Димы болезненно скривилось, и теперь он почти кричал. - Чего же мы тратим время, давайте его ловить, черт бы его побрал!

- Значит, все в порядке... - словно себе самой, задумчиво сказала Наталия поднимаясь из-за стола. - Все в порядке, - повторила она, обращаясь уже только ко мне, - я тебя

не зову с нами: как видишь, наша компания не очень веселое зрелище... надеюсь, к вечеру мы вернемся.

Я попросил их, не знаю зачем, завести меня по дороге в центр города, и вышел из автомобиля на первом попавшемся незнакомом мне перекрестке, ничем не отличающемся от других пыльных перекрестков.

## 5.

Послониавшись по городу, я убедился, что деться в нем некуда. Возвращаться домой не хотелось, и я пошел по улице, в конце которой виднелась бурая степь и колышущийся в струйках горячего воздуха пыльный горизонт.

Я без цели бродил по степи, пытаюсь сосредоточиться и навести в мыслях порядок, но ни остановить их, ни придать им сколько-нибудь определенности не удавалось.

Город скоро очутился у горизонта, но меня не беспокоило это. Временами я без причины сворачивал, далекие лиловые горы возникали то впереди, то по левую руку, а порой и вообще исчезали.

Солнце, бывшее сначала в зените, заметно спустилось, но зной не спадал. Даже сквозь башмаки я чувствовал жар раскаленной земли. Воздух тонко звенел от голосов насекомых, немислимым образом существовавших в этом безводном пекле. Слабый ветер медлительно, будто с трудом, шевелил массы нагретого воздуха, и казалось, вот-вот он совсем обессилеет. Я подумал, как странно, что не хочется пить, и тут же почувствовал жажду. Взгляд везде упирался в жесткую линию горизонта, и я вынужден был осознать, что не представляю, где город.

Я направился на закат, к западу, чтобы добраться домой вдоль берега — и действительно, через час вышел к морю.

Солнце плавало на воде лоснящимся красным пятном, иногда лениво сплющиваясь и вытягиваясь снова в овал.

Для купания это место — я его знал — было не лучшим на побережье, но сейчас привередничать не приходилось. От берега тянулась бесконечная отмель, и я долго шел по колена, а после по пояс в теплой неподвижной воде, прежде чем удалось добраться до границ прохладных слоев.



Ветер утих окончательно, но морская поверхность еще играла еле видными тенями, повторяющими рисунок исчезнувшей ряби. Под водой тени этих теней неожиданно обретали реальность, ложились на песчаное дно легким сиянием и собирались в узоры, колдовские в своем непрестанном движении. Иногда кольхание это создавало причудливые видения — что-то руки, глаза — но они растворялись мгновенно, и их жесты, их взгляды, оставаясь неуловимыми, мучали вездесущностью. И чудилось, не я шел сквозь зыбкое мерцание подводного мира, а оно наплывало и пронизывало меня.

То и дело проплывали медузы. Растопыривши щупальца, словно одетые в кружевные брыжи, важно раздувши разноцветные мантии и выставив напоказ свое праздничное убранство, они плавно скользили в разные стороны. В бессмысленной своей деловитости они напоминали придворных, разряженных и флагирующих по дворцу перед началом бала, напустив на себя от безделья озабоченный вид. Были тут и дамы в лиловом, и кавалеры в дымчато-серых камзолах, а иные зловещей строгостью походили на рыцарей в синеватой стальной броне, со шпорами и крестами на панцрях.

Постепенно в движении их появилась некая стройность, смысла которой я уловить не мог. Узоры на дне обрели ритмичную правильность и стали похожи на паркет с волшебным танцующим рисунком. Там, под водой, в мире бесформенности и бесцельного кольхания, наступал какой-то порядок.

Медузы-придворные парами чинно скользили над мерцанием паркетных узоров, либо, собравшись в группы по трое или четверо, лениво толклись на одном месте, будто не спеша о чем-то болтали. Казалось, они ждали чего-то.

Мне мерещилось, что сейчас случится необратимое, что вот-вот начнется непонятный и дикий праздник, и внезапно подводный мир чудесным и страшным образом сольется с моим миром, и останется только он, бесконечно красивый и бесконечно чужой, и я навсегда стану одной из теней подводной вселенной, тенью, наделенной ужасным кошмаром — памятью о своей предыдущей жизни.

Я закрыл на секунду глаза, чтобы избавиться от этих нервных глупостей, и повернулся к берегу.

Там, у самой воды, около низких скал, виднелась парочка, искавшая здесь, надо думать, уединения. Мужчина стоял, а женщина сидела на выступе желтой известняковой плиты и курила. Я пошел к ним как можно решительнее, чтобы избежать вероятной неловкости.

Первым узнал я мужчину — это был Юлий, с плеча его на лохматом шнуре свисала сумка. Женщина оказалась Леной, барменшей из ресторана. Ее черные волосы были распущены, и на фоне скалы, блекложелтой и ноздреватой, она была неправдоподобно красива, застывшей обложечной красотой, странной в живом человеке и вызывающей беспокойство. Курила она нервно, без удовольствия, и дым от ее сигареты не уплывал прочь, а повисал гирляндами в неподвижном воздухе, словно нанизываясь на красноватые лучи солнца.

Юлий улыбался, и улыбка его была слишком щедро приправлена веселой беспечностью, под которой угадывалось напряжение. Я подумал уж было, что виной тому мое появление из воды, но приветливость в его голосе не казалась поддельной:

— Мы узнали вас по одежде и решили дождаться, — пояснил он, и я почувствовал, что принес ему какое-то облегчение, и теперь терялся в догадках, какое именно.

— Да, — подтвердила Лена, и в ее голосе тоже сквозила непонятная благодарность ко мне, — мы уходим, обсыхайте скорее и пойдите вместе!

Она протянула мне сигареты и терпеливо ждала, пока я изловчусь взять из пачки одну из них, не замочив остальные влажными пальцами. Я прикурил от ее сигареты и присел рядом с ней на камень.

— Что вы делали там? Считали медуз или стихи сочиняли? — Юлий каждое слово, будто воздушный шарик, надувал беззаботностью, но они все равно не хотели лететь и бессильно падали на песок.

— Нет, — засмеялся я, стараясь попасть ему в тон; мой смех прозвучал глухо в знойном безветрии и повис где-то рядом, в фестонах табачного дыма. Говорить было боязно — звуки, слова и фразы не улетали вдаль, они громоздились кругом, незримо, но плотно заполняя пространство. Тем не менее я продолжал столь же бодро:

- Я глазел на подводное царство. Там готовится что-то наподобие бала! Медузы все вырядились и плавают очень важно - ждут кого-то, наверное, своего водяного принца!

Я надеялся болтовней развлечь их немного, но эффект был, напротив, неприятный и неожиданный. С лица Юлия исчезла улыбка, и на миг ее заменила гримаса раздражения, а следующая улыбка была довольно беспомощной. Он ничего не сказал, только взгляд его стал неподвижным, будто он что-то обдумывал, наскоро, но старательно, как шахматист, у которого истекает время.

Реакция Лены была еще более странной. Глаза ее сделались круглыми, будто она увидела что-то невообразимо жуткое, приоткрытые губы застыли и побелели. Ее захлестнул внезапный безудержный страх, непонятным образом связанный с моими словами, ужас, перемешанный с возбуждением, ужас дикого зверя, готового мчаться отчаянно и в упоении, спасаясь от злого врага или степного пожара. Я только сейчас заметил, что глаза ее чуть раскосые, и на миг в них увидел азарт сумасшедшей скачки. Но она оставалась сидеть неподвижно, пригвожденная к желтой скале лучами вечернего солнца, прикованная синими лентами табачного дыма. Я не знал, чем ей можно помочь, и от этого было тоскливо; прошло, наверное, не меньше минуты, пока она справилась со своим испугом.

Критический момент миновал, но мы продолжали молчать. Никто не решался нарушить обступившую нас тишину, она виделась мне, как непрерывно растущий необъятный храм - залы, колонны, своды, где безмолвием заковано все слышимое, и достаточно одного сказанного вслух слова, чтобы эта взгромоздившаяся к небу постройка начала рушиться, чтобы вырвались на свободу зачарованные под куполом и в колоннадах звуки, и чудовищной какофонией скрежета, воя, грома, рычания, разодрали бы на части все остальные стихии - море, небо и землю.

Первым рискнул заговорить Юлий, как видно, продолжая их спор:

- Это смешно, Елена, представь себе только - играл бы здесь полковой оркестр с медными трубами и барабаном - что

осталось бы от твоего страха? Ты пугаешься тишины, — заключил он сожалеющим тоном, — и зря, ибо тишина — одно из лучших творений природы!

В ответ она даже не улыбнулась, и непонятно было, слышала ли его вообще. Догадываясь лишь смутно, что у них происходит, я не хотел, чтобы эта неловкая сцена затягивалась из-за меня, и отошел за камень одеться.

Мне случалось лишь несколько раз видеть море таким — ни одного всплеска у берега, ни малейшего колыхания, и поверхность воды похожа на отшлифованную грань невероятных размеров кристалла. Я заставил себя ощутить насильно, что там, в море — вода, привычная жидкая и соленая вода, она виделась твердой, и не просто твердой, а твердейшей из всех твердых веществ, так что даже свет солнца не мог проникнуть сквозь ее неуязвимую гладкость и разливался по ней красными слоями. Казалось, что темноватое зеркало моря продолжается и под берегом, что настоящая земля такая и есть — граненая абсолютная твердь, а все, что на берегу — песок, камни, степь — всего лишь накопившийся мусор, и таков именно был замысел творения нашей планеты — создать вовсе не шар, а безупречный кристалл, аметистовым чистым сиянием украшающий вселенную.

Я чувствовал, что теряю ощущение реальности, и был благодарен Юлию, когда он заговорил снова.

— Представьте себе, — он теперь адресовался ко мне, пока я у воды на камне вытряхивал песок из ботинок, — вы идете купаться с прекрасной дамой, вы счастливы! Но по дороге, пока вы ищете подходящий пляж, и без того слабый ветер стихает, и море, увы, становится плоским, как олимпийский каток! Ваша дама на него смотрит и говорит, что не может лежать на песке, когда рядом такое странное, слишком гладкое море! Рассудите же нас, потому что мы оба, как видно, не вполне нормальны!

Он ожидает от меня поддержки, но что я мог сказать успокаивающего, если мне тоже было не по себе — и я медлил с ответом.

Наступила опять тяжелая пауза, разговор у нас никак не получался. Мне казалось, Юлий тоже угнетен погодой, но не

хочет признаться в этом ни нам, ни себе. И тут же я получил подтверждение своей догадки.

Лена насторожилась первая, а за ней стали вслушиваться и мы с Юлием: со стороны моря, с неподвижной окаменевшей воды, приближался тихий, но очень устойчивый шум, что-то вроде шелеста леса или журчания маленького водопада. Я узнал этот звук — шум одиночной волны, бегущей по тихой воде. Для них это было в новинку, и когда они увидели невысокий искрящийся вал, скользящий к нам по зеркальной плоскости, не нарушая ее неподвижности, оба одинаково напряженно следили за ним глазами, и лица обоих выглядели одинаково встревоженными.

Да, Юлий был ~~взвинчен~~ взвинчен не меньше Лены, и я гадал, было ли это полностью ее внушением. Она-то была наэлектризована сверх всякой меры, и взгляд ее действовал мне на нервы — сосредоточенный, будто плавающий, с неприятным и привораживающим блеском — подчиняющий взгляд гипнотизера.

Вал докатился до берега, расплескался у наших ног и убежал назад в море слабой отраженной волной. Твердость и неизбежность водяного кристалла восстановились.

Лена пребывала в оцепенении, и я счел моим профессиональным долгом попытаться ее успокоить:

— То, что сейчас наблюдала почтеннейшая публика, есть безобиднейшее явление природы. Километров за двадцать отсюда обрушились в воду давно уж подмытые скалы, и волна принесла нам весть об этом событии... Юлий, вы можете это включить в сценарий... Какие будут вопросы?

Отклика не последовало. Юлий смотрел неотрывно на морской горизонт, словно ему там пригрезился прекрасный мираж, а Лена продолжала сидеть, и взгляд ее скользил по мне, не замечая меня. Вокруг нее струйки горячего воздуха рисовали ускользающие текучие линии, и, напрягая зрение, я их заставлял проясняться. Изогнутые стволы, лиловые, полупрозрачные, росли из песка, ветвились, переплетались и, уходя вверх, растворялись над нами в воздухе. Струйчатые стволы медлительно выгибались, как водоросли от подводных течений. Их становилось все больше, и призрачные красновато-лиловые заросли окружали нас все теснее.

Сколько прошло так времени — не представляю, может быть, всего лишь секунды, но они были очень долгими, эти секунды.

И путь от берега — когда Лена, произнеся что-то беззвучным движением губ, осторожно встала, и мы, будто повинувшись приказу, пошли вслед за ней — путь к дороге по насыщенной жаром степи, по мягкой сухой земле, поглощающей шорох шагов, тоже был бесконечным.

У Юлия в сумке нашелся термос с чем-то холодным — не то квас, не то морс. Мы пили его по очереди, стоя на пыльной дороге, и тающий на губах холод этого питья возвращал спасительное ощущение материальности и надежности окружающего мира.

— По-моему, мы присутствовали на сеансе гипноза, — голос Юлия был привычно веселый, но в нем звучала едва уловимая нотка досады или даже злости, — признавайся, Елена, ты готовишься выступать с этим в цирке?

— Не знаю, ничего я не знаю, — она вынудила себя улыбнуться, — мне там было нехорошо.

Мы шли по дороге, стараясь не ворошить бархатный покров пыли, но все равно каждым шагом взбивалось густое, медленно оседающее, красноватое облачко.

Солнце ушло за далекий мыс, и в воздухе сразу стало прохладно и сумеречно. Лена вяла нас под руки, и я чувствовал, как она время от времени зябко ежилась.

— Я моря всегда боялась, особенно в такую погоду. В нем есть страшная сила... мне трудно объяснить это... не просто сила, а что-то думающее, наблюдающее, словно тысяча глаз на меня смотрит... беспощадное, как машина, бесчувственное... когда ветер и волны, оно в глубине, а в тишь у самого берега, или даже на берегу... любопытное, умное, смотрит, слушает отовсюду, может и мысли подслушивает...

— Национальная болезнь: мания преследования, — подал голос Юлий, — один раз пойми это, и твои страхи исчезнут. А так же свихнуться можно! Ты и на нас нагнала сегодня чего-то такого...

— Я долго была уверена, что это только мое, что никто больше не чувствует этого... и страшно удивилась, когда

прочитала сказку про морского царя... Будто бы раз в год морской царь приказывает замереть своему подводному царству. И ветер тогда стихает, и море успокаивается — ни песчинка на дне, ни травинка не шелохнуться. Если хоть что-нибудь пошевелится, беда, будет такая буря, что никто цел не останется. А если все неподвижно, морской царь выезжает на колеснице и в тишине вдоль берега едет, едет, свое царство осматривает...

— И прихватывает с собой девиц, которые зазеваются и вовремя не уберутся домой! — не выдержал Юлий. — Да этим же еще в древней Греции бабушки пугали своих разбитных внушек! Этой сказке не меньше, чем три тысячи лет, это очень древняя выдумка!

— Ну и что же, что древняя! Страх-то в ней настоящий.

— Страх, страх... — проворчал Юлий, — людям хочется верить в большой страх... волка бояться скучно — нет в нем тайны... а хочется непонятного.

Лена слегка усмехнулась — она явно прислушивалась. Юлий молчал, и я поспешил заполнить паузу:

— Я читал в одном умном журнале, что моряки сходят с ума не реже городских служащих. И если отбросить потерпевших крушение, то почти все повреждаются в уме именно во время шторма, в такую вот, как сегодня, слишком спокойную погоду. Она всем портит нервы — море давит на психику.

— Я понимаю вас, понимаю... конечно давит... конечно давит на психику... но мне кажется, что у моря своя психика, она-то и давит, я это чувствую... а вы считаете, что я ненормальная...

Разговор снова зашел в тупик, но мы уже, к счастью, добрались до города. Лена сказала, что работает завтра с утра и хочет выспаться. Мы проводили ее, и по пути домой Юлий, против обыкновения, не произнес ни слова. Только уже за калиткой, перед тем, как уйти на свою половину, он вдруг спросил:

— Скажите, а вы уверены, что в море нет ничего такого? — он сделал рукой неопределенный жест.

— Вы же образованный человек, Юлий, — укорил я его.

— Я вас понял, — сказал он серьезно, — спасибо, спо-

Я сидел у окна и курил. В саду начиналась ночь, под деревьями уже стемнело, а на улице был еще вечер. Густая дорожная пыль, успокоившись в сумерках, легла вдоль следов колес мягкими серыми валиками, в домах напротив загорались огни, и между крышами светилась сиреневая лента заката.

Соломенное кресло при каждом моем движении поскрипывало, и мне слышались в этих звуках однообразные успокоительные интонации: ничего... ничего... ничего... Как тихо в доме... Юлий, наверное, спит. Или вот так же сидит у окна. Хотя, ему-то зачем. У него все спокойно и благополучно. Все и всегда благополучно... У меня тоже было спокойно, тоже благополучно. До вчерашнего дня... Да и вчера ведь почти ничего не было. Ничего еще не было, и все равно меня зацепили, как рыбу крючком зацепили, и тянут уже из моего пруда, из моего покоя. И нет тут ничего умысла — не Наталия же... Система случайностей... Но от этого спокойнее не становится.

Вот я сижу, жду ее — а что в этом проку? Что я скажу ей? Она слышала это уже много раз, от разных мужчин, и от старых знакомых, и от случайных, таких, как я. Ее просто стошнит!.. И вернутся они усталые, может быть раздраженные, даже наверняка раздраженные. У них тоже не все просто, странные у нее отношения с Димой... И еще их свихнувшийся пес — не поймать им его. Нелепая какая идея, гоняться в степи за сумасшедшей собакой... Она сама бегаёт не хуже автомобиля...

Вдалеке в неподвижность улицы вторглось движущееся пятно. До чего смешная походка... гуттаперчевая... и руки болтаются, как два резиновых шланга...

Да, странные у них отношения. Интимные и отчужденные сразу... Понимают с полуслова друг друга, и совершенно чужие... И как она странно сказала — мне казалось, у меня двое детей. Не кажется, а казалось...

Человек со смешной походкой остановился у нашей калитки и разглядывал окна; я отодвинулся вглубь комнаты, не желая становиться предметом его исследования. Высокий, неск-



ладный, вблизи он напоминал гигантскую пневматическую игрушку; лицо его, слишком большое даже для его рослой фигуры, казалось эластичной маской, наполненной жидкостью; и если в нем, не дай бог, испортится клапан, то все пропало — выльется изнутри вода, сморщится кожа лица, закроются щелочки глаз, и весь он складками оседет на землю, как пустой водолазный скафандр.

Словно сознавая свою уязвимость плохо сделанной надувной игрушки, он вел себя предельно осторожно. Несколько раз он протягивал руку к запору калитки и отводил ее снова назад, а когда решился войти, отворил калитку ровно настолько, чтобы в нее протиснуться, но зато пролез сквозь нее не спеша и уверенно — с медлительным спокойствием гусеницы, несколько раз ощупавшей кромку листа, прежде чем вползти на него.

Он постучал в мою дверь, и когда я открыл ему, приветствовал меня громко и радостно, и почему-то в третьем лице:

— Ага! Наконец! Вот он и дома! — от улыбки лицо его раздалось вширь и стало занимать еще больше места. — Он курит, и много курит! — он шумно понюхал воздух и, сделав паузу, сбавил громкость: — Извините, что я провинциально и запросто! Третий раз захожу, а вас нет все и нет, — он сделал еще одну паузу, как будто ему говорить было трудно, — мне бы от вас пару слов! Интервью, как говорится! Я из газеты, редактор!

— Садитесь, пожалуйста, — пригласил я; он был такой неестественно суразный, что я никак не мог решить, приятен он мне или неприятен.

— Попросить вас хочу, — он опасливо покосился на кресло, — просьбу имею: на воздух пойдёмте... день-то душный, и не вздохнуть было... а мы вот с вами проветримся, перед сном погуляем.

Мы вышли на улицу, и слушать его стало легче — паузы между словами исчезли и речь оживилась:

— Мне от вас много не надо, мне бы про фильм, как говорится, с научных позиций... Вот Юлий Николаевич — дело другое, он про режиссера, да про актёров... а мы теперь с козырей зайдём, под науку! И читателю интересно. Так уж вы не

отказывайте, убедительно вас прошу, не отказывайте!

- А я вовсе не против: спрашивайте!

- Э, кому важно, что я спрошу! Важно, что вы скажете!

К примеру: о чем будет фильм - если смотреть от науки?

О чем фильм?.. Не знаю... и Юлий не знает... скорее всего, ни о чем... и при чем здесь наука: акваланги, модель, батискафа, шхуна, да несколько терминов... поцелуй влюбленных на дне морском... только как ему это сказать...

Я решил не дразнить его и с некоторым трудом выдал приемлемый для него ответ:

- В двух словах сказать трудно. Пожалуй, о том, что исследование моря - такая же обыденная работа, как уборка сена.

- Ай-ай-ай! Читатель у нас заскучает! Нет уж, давайте не будем так огорчать читателя! Где же романтика? Ай-ай-ай! В сценарии, помните, такие слова: "Выведем у глубин последние тайны"? Тайны! Вот чего ждет читатель! И почему тайны последние? Если последние, что потом делать станете?

- Насчет тайн - художественное преувеличение. Никаких тайн в море нет. Есть вопросы, и много. Так что, чем заниматься - всегда будет.

Что они, все с ума посходили?.. Какие тайны?..

За разговором мы выбрались к центру города и прогуливались теперь по освещенным улицам.

Он писал на ходу в блокноте, причем не сбивался с шага, и по-моему, щеголял отчасти этим профессиональным навыком. Время от времени он проверял, сколько страничек написано, и когда их насчиталось достаточно, спрятал блокнот в карман:

- Вот и спасибо, уважили! И от меня спасибо, и от читателя! А если спросил что не так - уж извините, не обижайтесь, пожалуйста! Такая наша специфика, что поделаешь - дело газетное, бесцеремонное. Так уж вы, как говорится, зла не попомните!

Он замолчал и теперь грузно сопел рядом со мной.

- Здесь живу. Рядом. До угла с вами, - пояснил он свои намерения и умолк окончательно.

Мы медленно шли по бульвару, вдоль стены темных деревьев, и месяц едва пробивался сквозь кроны. Листья каштанов

выглядели огромными лапами, каждая из которых может схватить хоть десяток таких лун сразу, и это превращало каштаны в тысячеруких гигантов, могучих, но безразличных к власти, что могли бы иметь, если бы захотели. В прорезях листьев блестяли черепичные крыши, словно панцыри древних ящеров, и дома, со спящими в них людьми, с заборами и скамейками, со всеми изделиями рук человеческих, казались больным, вымирающим миром, по сравнению с миром зелени, миром великанов-деревьев.

Дома все были темны, и я подумал сначала, что мне померещилось, когда над плоской крышей двухэтажного дома увидел слабое фосфорическое свечение. Выждав просвет между ветками, я замедлил шаги — да, над крышей что-то слабо светилось, и в этом свечении проступал непонятный и злой силуэт — темная полоса, обрубок, с выступами внизу, наподобие фантастической пушки направлялся наклонно в небо, угрозой и вызовом звездам, угрозой не явной, а тайным оружием, неведомым никому до мгновения, когда по чьей-то недоброй воле оно вступит бесшумно в действие и, в такую вот тихую ночь, посетит беду далеко в небе, среди мерцания звезд.

— Что это?!

— Тс-с... — мой спутник выпятил губы и приложил к ним палец, а другой рукой доверительно вцепился в меня пониже локтя.

Я почувствовал липкость его пальцев, казалось, они приклеились ко мне намертво, и оторвать их можно будет лишь с клочьями кожи. Тогда я придумал поправить воротник рубашки и избавился на минуту от его пальцев, но он тотчас взял меня под руку снова.

— Тс-с... Дом майора! С отделением он — вплотную!..

Мы отошли немного, и он с возбужденного шепота перешел на быструю речь вполголоса, напоминающую бульканье супа в кастрюле:

— Телескоп!.. В небо он — только для виду! А на самом деле — ого! Все, все видит — все четыре дороги к городу, все побережье! Ни одна собака сюда не вбежит, чтобы он не узнал... Сначала все думали — ну, чудак, в телескоп забавляется... И его лейтенант, не будь дурачком, написал, куда

следует: так, мол, и так, начальник мой сдвинулся. Вскоре инспекция из управления, сам генерал, и внезапно, в двенадцать ночи. Только он из машины — а навстречу майор, в полной форме, сна ни в одном глазу, докладывает: руковожу операцией по задержанию диверсантов. Это учения есть такие, сбрасывают якобы диверсантов, а пограничники — их лови, ну так и Крестовский туда же.

— Разрешите, товарищ генерал, передать руководство действиями! — тот совсем ошалел: — Доложите обстановку, майор, и продолжайте!

Что там дальше было, не знаю, но уж был готов самовар, да случайно и коньячок оказался. А по радио — операция. Это шумное дело было: запустили троих, одного с лодки подводной и двоих с парашютами. Так всех их, родненьких, милиция и взяла, стало быть Крестовский, а наряды у пограничников — и ведь все на ногах были — фьют! Генерал как надулся — и звонить в погранштаб: у меня-де ваши люди задержаны, привезти, или сами их заберете?.. Уехал довольный, майору при нижних чинах руку пожал и — устную благодарность! А когда уж пришло все в огласку, генерал себе орден, и Крестовскому орден, двум сержантам — медали... Да, мальчишку того, лейтенанта, перевели быстренько... Вот и телескоп вам — игрушечка! Вроде шарит себе по звездам, а на поверку — под прищелом весь город!

---

7

Они не приехали вечером, и не приехали ночью. Я долго еще сидел у окна, а после, не раздеваясь, лег и заснул, как мне показалось, на час, или того меньше. Проснувшись от шума и суеты за окном, я не мог понять, почему сквозь листву бьет солнце, и не снятся ли мне ляганье автомобильных дверей и возбужденные голоса.

Заставляя себя преодолевать сонную апатию, я вслушивался. Самым громким и раздраженным был голос Димы, иногда ему тихо отвечала Наталия, и все время в их разговор, точнее, в их спор, вклинивались короткие и деловитые, но не без ноток нервозности, реплики Димитрия, относящиеся не то

к погрузке, не то к разгрузке машины.

- Не понимаю тебя, не понимаю, что ты хочешь нам доказать, - настойчиво и растерянно сразу, говорил Дима, - ты же знаешь сама, это бесполезно!

- Почти знаю... почти бесполезно... - ее голос звучал напряженно и ровно, и я уловил в нем вчерашние интонации не зависимого ни от чего покоя, которые, главным образом, и выводили из себя Диму.

Дальнейшие их пререкания заглушил рокот мотора. Когда он стал громче и начал перемещаться, я осознал, наконец, что они уезжают. Подбежав к окну, я успел увидеть автомобиль в конце улицы и медленно оседающую завесу пыли.

Я отказывался верить глазам. Как же это?.. Не может этого быть...

Остатки сонливости стряхнулись сами собой, и начиная уже понимать непреложную реальность происходящего, я выбежал на крыльцо - от калитки навстречу мне шла Наталия. Лицо ее было усталым и бледным, но ноги ступали по песчаной дорожке легко, и походка сохранила упругость.

- Вот видишь, я не уехала, - сказала она просто, - мне надоела жизнь на колесах.

Я был оглушен стремительностью событий последней минуты, мгновенным переходом от сна к реальности, и от полного отчаяния к неожиданной, еще не вполне осознанной радости, и боясь говорить что-нибудь, чтобы не спугнуть счастливое наваждение, пытался согреть в ладонях ее руки, почти безразличные от крайней усталости, и несмотря на усталость и безразличие, все же ласковне.

- Все хорошо, - слабо улыбнулась она, и губы ее чуть заметно вздрагивали, так же чутко, как крылья бабочек, что я видел вчера, - только мне нужно выспаться...

Уже поднявшись по лестнице к своему мезонину, она мне помахала рукой:

- Тебе мальчики передавали привет. Они к тебе заглянули, но будить не решились... Я им сказала, что они поступили мудро.

Следующие несколько дней были для нас безоблачными. Юлий дважды уезжал по делам, а остальное время сидел взаперти и работал, никто нас не беспокоил, и мы совершенно забыли, что на свете бывают заботы и огорчения.

Наталия была весела и со мной неизменно ласкова. Мы много бродили по степи и вдоль берега, иногда добираясь до еле видных из города изъеденных временем плоскогорий и до мелевых прибрежных утесов, лазали там по скалам, забирались в пещеры, и радовались каждому цветку и каждой травинке.

Однажды мы сидели на ступеньках у сфинкса, слегка разморившись от солнца, и смотрели, как в редкой траве шныряло несколько кошек, ухитряясь на что-то охотиться.

Ветер тонко жужжал в щелях постамента, его пение прерывалось, словно кто-то пытался играть на свирели, и у него не хватало дыхания. Короткий звук... длинный... еще два длинных и снова короткий...

- Я уже научилась знать, что ты думаешь... - она водила задумчиво <sup>пальцем</sup> по шершавому теплому известняку, - будто нам подадут сигналы и просят ответить..., а нам не понять...

Ветер ослабел, стало жарко, и пение стихло. Серая ящерка незаметно скользнула на камень и грелась на солнце, часто дыша и глядя на нас крохотными внимательными глазами. Что-то в нас ее не устроило, и она снова юркнула в щель.

- Мне приходят на ум сумасбродные мысли... почему бы не поселиться где-нибудь здесь, у моря, вот в таком тихом городе... в нем есть тайны и давний-давний покой... бросить всю суету... ходить вечерами к морю и слушать его голоса... или сидеть тихо дома, смотреть, как в саду засыпает зелень... а потом по лунным квадратам танцевать на полу...

Жужжание ветра возобновилось, она замолчала и стала прислушиваться.

Мы ушли, и я думал, разговор этот забудется, но вечером она о нем вспомнила. У нас стало привычкой заплывать по ночам в море и подолгу болтать, глядя в звездное небо и держась за руки, чтобы нас не отнесло друг от друга.

- Знаешь, я не могу забыть те звуки... то пение ветра... мне все кажется, оно что-то значило, и тоскливо от этого... как потерянное письмо...

— Сколько можно помнить о такой глупости, — я чуть не сказал это вслух, но каким-то змеиным инстинктом понял, что нельзя выдавать раздражения.

— Ты суеверна, как средневековый монах, — я поймал себя на том, что копирую интонации Юлия, но избавиться от них уже не мог, — ты полагаешь, что ангелы удосужились от безделья выучить азбуку Морзе?

— Не кощунствуй, — она засмеялась, но смех был нервный, — я боюсь, когда так говорят... смотри, какое черное небо... вдруг пройдут по нему лиловые трещины, зигзагами, как по ветхой ткани... и дальше все будет очень страшно...

Я промолчал, чтобы дать ей самой успокоиться. Как она взвинчена... отчего бы это?..

Мы немного отплыли к берегу, и она заговорила о другом, но я уже чувствовал тончайшую, еле уловимую отчужденность в каждом ее слове:

— Стоит мне попасть в море, как я себя чувствую морским зверем... земля делается чужая и странная, а море становится домом... и мне кажется, если я захочу, то смогу раствориться в море... и это не страшно... никто бы ничего не заметил... никому бы не было больно... даже ты сейчас не заметил бы...

Меня больно царапнула последняя фраза, но вскоре она забылась, и вся эта неделя мне потом вспоминалась совершенно счастливой. А конец ее, как ни странно, обозначился вечером, который был задуман, и начинался, как веселый и праздничный.

Мы привыкли к тому, что соседка наша, Амалия Фердинандовна, по утрам или днем приветливо улыбалась со своего балкона, иногда затевая короткие разговоры о пустяках. Я ни разу не видел, чтобы она выходила из дома, и мне стало казаться, что она вообще существует исключительно на балконе. Возле нее обычно, если они не шныряли в это время по саду, были ее белые кошки, Кати и Китти. Как она объяснила нам все с того же балкона, они названы так не из кокетства, а потому что в ее семье, живущей в Крыму уже чуть не сто лет, всегда держали двух кошек, и всегда их звали Кати и Китти. Из других признаков жизни в ее доме раздавались звуки рояля

и довольно приятное пение — она в свое время училась в консерватории, пока не вышла замуж за начальника всех телеграфов и почт этого захолустного района. Несмотря на возраст и полноту, она была миловидна, и ее пухлые губы и небесно-голубые глаза сохраняли детское выражение. Ее мужа мы не видели: он был в Москве на курсах, где людей с юридическими дипломами превращали в профессиональных почтмейстеров.

В тот день, как обычно, она утром нам помахала с балкона, но позднее, к вечеру, случилось невероятное: она к нам спустилась, и не просто спустилась, а, радостно улыбаясь, зашла в наш сад. Это произвело на нас такое же впечатление, как если бы у берега моря кошачий сфинкс слез со своего постамента и явился к нам в гости к чаю.

— Я вас всех троих приглашаю в мой дом! Сегодня день моих именин, день моего ангела!

В их семье дням рождения не придавали значения, но зато именины всегда чтились свято.

— Только пусть это будет секрет между нами. Майор Владислав, — она так называла Крестовского, потому что он когда-то учился вместе с ее мужем, — майор Владислав, он очень обидчивый, но если позвать его, нужно звать прокурора, а тогда еще и других. Они все так много пьют водки, и потом будут ссориться и за мной ухаживать — я без мужа не могу с ними справиться!

Стол был накрыт в полутемной гостиной. В приятной прохладе поблескивала полировка рояля и овальные рамки на стенах — из них смотрели на нас пожелтевшие фотографии, brave мужчины с усами и в клетчатых брюках, и дамы в шляпках, напоминающих корзинки с цветами. Перед иконой в углу горела лампадка.

Когда она принесла пирог с горящими свечками, стол сделался очень нарядным. Кроме главного пирога, было много еще пирожков, кренделей и булочек, и вишневая наливка в большом хрустальном графине.

Выпив несколько рюмочек, Амалия Фердинандовна раскраснелась и весело рассказывала о столичных премьерх десятилетней давности, а Юлий весьма галантно за ней ухаживал и, удачно вворачивая вопросы и восклицания, превращал ее ожив-



ленную болтовню в видимость общего разговора.

У Наталии обстановка гостиной, пирог со свечками и сама Амалия Фердинандовна вызвали детскую радость, и она успевала тихонько болтать со мной, причем всякий раз, когда Амалия Фердинандовна поворачивалась в нашу сторону, она видела, как мы, ее слушая, чинно жевали, и встречала внимательный, хотя и чуть озорной взгляд Наталии.

— Это точь-в-точь именины моих теток... я недавно о них вспоминала и жалела, что это не повторится... Мы вот так же исподтишка болтали с сестрами, и для нас был вопрос чести, чтобы взрослые не заметили, что мы заняты посторонним!.. Мне сейчас подарили кусочек детства... такие же свечки на пироге, и фотографии в рамках, и сладкая-сладкая наливка...

Я радовался, что ей хорошо, и тому, что нам хорошо вместе, и возникшей внезапно особой, счастливой близости — ощущению сопричастности ее детству.

Все было прекрасно, пока не появились белые кошки. Учуявши запах пищи, они незаметно проникли в гостиную, юлили и попрошайничали около Амалии Фердинандовны, и та, притворно сердясь, не могла удержаться и бросала куски им под стол. Кошкам же все было мало, они шныряли под всеми стульями, и казалось, их не две, а гораздо больше. Потом одна из них, более жирная, вспрыгнула на колени к Наталии, и она, рассеянно погладив кошку, мягко столкнула на пол, но та прыгнула снова, и потом еще и еще, пока я не скинул ее довольно внушительным подзатыльником. Амалия Фердинандовна насторожилась, но Наталия в это время закашлялась, и прodelка моя сошла с рук безнаказанно.

У Наталии портилось настроение, и я чувствовал, что это непонятным образом связано с кошками. Она сидела теперь немного ссутулившись, словно от холода, старалась не разговаривать, и несколько раз у нее начинался сильный кашель. А кошка упорно не уходила от нас, сновала под нами и терлась о наши ноги, выписывая вокруг них восьмерки. Мне два раза удалось незаметно ее пнуть ногой, но она каждый раз возвращалась, и мне, против всякого здравого смысла, начинала мерещиться в ней сознательная злобность, и

вспоминались страшные истории о животных-оборотнях.

Наталии стало еще хуже, она явно была нездорова — глаза покраснели, и дышала она с трудом. Я предложил ей уйти, и она согласилась, если я провожу ее и вернусь назад, чтобы не испортить совсем именины.

По пути она тяжело опиралась на мою руку и дома долго не могла отдышаться.

— Я тебе объясню, не пугайся... я должна тебе сделать признание, только не смейся, пожалуйста... у меня очень смешная болезнь: аллергия на кошек, настоящая медицинская аллергия... ты же видел, вроде ангины, это от их шерсти, или от чего-то, что есть на шерсти... так что для меня табу шерсть кошек, а не они сами... хотя это одно и то же... видишь, как глупо, я хотела бы кошку в доме и нельзя... только ты не волнуйся, к утру пройдет...

Она проспала всю ночь и половину следующего дня, свернувшись клубком, как больной зверь, и изредка вздрагивая во сне. Зато, вставши к обеду, она оправилась полностью от своей внезапной болезни и выглядела отдохнувшей и свежей.

Мы обедали в ресторане, и я предложил пойти погулять, но она отказалась:

— Хочу сделать дома кое-какие мелочи... чисто дамские хлопоты...

Она вытряхнула свой чемодан и, разбросав на кровати яркое легкое платье и другие разноцветные вещи, похожие на оперение для диковинной птицы, поправляла в них что-то и заглаживала утюгом складки. Она делала это, будто играя или устраивая для меня маленькое представление, и казалось, я вижу кадры из красивого фильма, но ощущения домашнего уюта ее занятие не приносило. Все портил чемодан у ее ног.

— Собираешься ехать? — спросил я, чувствуя, что не следует этого спрашивать.

Она отложила шитье и сказала спокойно:

— Нет, это я так просто... ни с того, ни с сего захотелось...

Потом она все спрятала в чемодан, и мы про него забыли. Был тихий вечер, был чай в саду под цветами шиповника, и была ночь, и все было спокойно и счастливо. Единственное,

что мне показалось странным — то, что заснуть я не мог ни на минуту, хотя спать очень хотелось.

Утром к нам постучался Юлий и вручил Наталии телеграмму.

— Что же, я этого ожидала, — насмешливо сказала она, — господа скульпторы и на новом месте изволили со всеми перепортить отношения! И теперь вызывают меня вместо скорой помощи, чтобы я улыбалась тамошним местным властям! Ох, уж эти господа скульпторы!

Меня успокоил было ее веселый и почти безразличный тон, но лишь только Юлий ушел, речь ее стала тихой и, пожалуй, слегка обиженной:

— Он всегда был большим ребенком, я тебе говорила это... а я была нянькой, смею думать, хорошей нянькой. Начиная с того, чтобы снять мастерскую, и найти заказ, и заставить потом какой-нибудь нищий садово-парковый трест заплатить деньги... — она помолчала и перешла на обычный свой тон мягкой насмешливости, — а сейчас все очень забавно: он легко примирился с тем, что я не жена ему больше, но не может отвыкнуть считать меня своей нянькой... и я, к сожалению, тоже, — она потянулась к моим сигаретам, подождала, пока я зажгу ей спичку, и сказала задумчиво и очень медленно: — Так что видишь, вчера я не зря перебрала мои тряпочки...

Ее голос звучал пугающе-ровно, и еще — отчужденно, из опасения, что я буду спорить и уговаривать. Впервые этот тон обернулся, хотя и защитным, но все же оружием против меня, и ранило оно, это оружие, очень больно.

А она продолжала, по-светски живо и без пауз между словами, словно боялась, что я перебью ее и не позволю договорить:

— Только не вздумай меня ревновать, как няньку! Я открою тебе важный секрет: увидев тебя, я сказала — вот мужчина, которому не нужна нянька! Если ты разочаруешь меня, я утоплюсь. И не пытайся меня отговаривать, — ее голос был почти умоляющим, — нянька древняя и почтенная профессия!

Я слышал ее как бы издалека и не очень хорошо понимал, что она говорит, а потому отвечал механически, что само придет на язык, и успел даже подумать, что это к лучшему, если мой тон будет сейчас безразличным.

- Не собираюсь... отговаривать... но не поэтому.

- А почему, скажи? - она смотрела на меня с любопытством, и во взгляде уже не было отчужденности, а только живой, и очень живой интерес, и это отчасти вывело меня из оцепенения.

- Лишено смысла, - пожал я плечами, стараясь, чтобы это вышло по-академически сухо, и как мог, скопировал ее интонации: "Так что видишь, вчера я не зря перебирала мои тряпочки".

Получилось, должно быть, смешно, потому что она рассмеялась:

- Ага, это очко в твою пользу! Твои шансы растут! - хотя веселость ее была с изрядной дозой иронии, в глазах светилась радость, что понимание так быстро восстановилось. - Значит, с тобой можно говорить серьезно... Тогда слушай: раз Дима просит приехать, а самолюбие его необъятно, ему действительно очень плохо... и нужно его спасать... думаю, мне быстро удастся укрепить его дух и обольстить муниципальные власти. Я тебе напишу, что и как... Но главное, хорошенько запомни: я не собираюсь тебя бросить, мужчина-которому-не-нужна-нянька - нынче большая редкость!

Поездку в аэропорт, такси и автобусы, я почти не помню. На нужный рейс мест уже не было, и мы долго стояли у кассы, пока нам не достался случайный билет, а потом гуляли среди газонов с грязной и чахлой травой, прислушиваясь к объявлениям рейсов. Потом мы стояли у загородки из труб, выкрашенных белой краской, и за эту загородку меня уже не пустили, а Наталия за следующей, такой же белой загородкой что-то спрашивала у стюардессы и, обернувшись ко мне, улыбалась и махала рукой, пока набежавшая справа толпа не поглотила ее.

В общем, поездка оставила впечатление больного и счастливого сна, в котором прожита целая жизнь, но ничего тол-

ком не вспомнить. В памяти осталась реальностью лишь белая загородка, разделившая нас у выхода на летное поле, отвратительно достоверная, с гладкой, чуть желтоватой поверхностью краски и застывшими в ней жесткими волосками щетинной ~~кисти~~ кисти.

На обратном пути меня преследовал белый цвет — белая щебенка дороги и белая пыль за окнами, белый потолок автобуса и белый чемодан в проходе между белыми креслами. В тот день мне казалось, что именно гляцевитая белизна — цвет тоски, цвет потери, цвет неприкаянности.

В город я возвратился затемно. От жары и тряски в автобусе я задремал, и снились странные сны, причудливо искаженные обрывки событий этой недели. Без конца повторялись видения душноватого вечера у Амалии Фердинандовны, кольхание огоньков свечей и блеск глазури именинного пирога под ними. И по-детски радостный взгляд Наталии, и приоткрытые от восхищения перед этими огоньками губы, и отражения свечек в ее глазах — а потом появилась белая кошка, и все стало портиться, портиться, портиться... Она кружила около нас и лезла на колени к Наталии, и терлась неотвязно о наши ноги, и сколько я ни гнал ее, ни отшвыривал, каждый раз она возникала снова, и терлась, и юлила в ногах, и вилась по-змеиному, становясь все больше похожа на уродливое белое пресмыкающееся. Кыш, кыш, оборотень!.. Кыш, оборотень проклятый!.. Она вырастала в размерах, продолжая виться в ногах, и оттесняла меня от стола все дальше, глядя просительно и с угрозой, а я чувствовал страх и ненависть к ней и, наконец, в приступе ярости, ударил ее изо всех сил ногой, почувствовав страшную силу этого удара по тому, как провалилась нога в мягкое и упругое тело чудовища, потерявшего уже все кошачьи черты. Вот тебе, вот тебе, оборотень!.. Оборотень, оборотень проклятый!.. Я пытался ударить еще и все время попадал мимо, но чудовище стало уменьшаться и, вертясь на земле, превратилось опять в кошку, а я, все еще стараясь ее ударить, не мог шевельнуть ногой, и от этих отчаянных усилий проснулся.

Автобус был пуст и подъезжал к городу, и до самой станции я не мог прийти в себя от привидевшегося кошмара, от

ощущения животной ярости и страха. И еще от того, что во сне удалось ударить кошку-оборотня.

Когда я пришел домой, в моей комнате горел свет, и Юлий, оказавшийся тут как бы случайно, расставлял в буфете бутылки. Наверное, выглядел я диковато, и он заставил меня выпить целый стакан чего-то крепкого, а после все подливал и подливал в рюмку пахучую настойку.

Потом постучали в дверь, и Юлий, который что-то рассказывал, насторожился и замолчал, встал от стола и, беспокойно глядя на дверь, отошел с рюмкой к окну, и только тогда громко сказал "войдите".

Вошла, вернее, вбежала Амалия Фердинандовна — я впервые видел ее растрепанной — она приготовилась, видимо, спать, и была в халате, поверх которого накинула шаль.

— Извините меня, прошу вас, я не стала бы вас беспокоить, но я видела, вы не спите! Боже, боже! В моем доме что-то ужасное! Я весь вечер боялась быть дома, оттого что в нем пусто, и это в первый раз после отъезда моего мужа мне страшно в доме! Боже, боже! Бедная Китти! — причитала она, и ничего более связанного мы от нее не добились.

Взяв с собою фонарь, мы перелезли на соседний участок.

— Вот здесь, вот сюда выскочила бедная Китти, — Амалия Фердинандовна вскрикнула, — а ведь Китти всегда ходила спокойной, но тут она ~~прыгнула~~ прыгала, била лапами и потом упала! О, боже! Я боюсь войти в мой дом! Какое счастье, что вы не легли спать!

Я пошарил лучом фонаря по земле перед домом, и радужное пятно света, среди листьев тополя, втоптаных в землю, осветило белую кошку, лежащую на боку с откинутой к спине головой.

— Вы не успели заметить, откуда выскочила ваша Китти? — осведомился Юлий, выждав паузу между вскрипываниями. Он осторожно потрогал кошку носком ботинка — она была бесспорнодохлой.

— Я не успела заметить! Разве могла я знать! — ее одолел новый приступ рыданий. — Кажется, вот отсюда! — она показала на дырку в ступенях крыльца.

и Когда мы садовой лопатой отдирали истертые каблуками ступеньки, с режущим ухо скрипом выдергивая ржавые гвозди,

мне казалось, внизу под щелями, в луче фонаря медленно шевелилось нечто лоснящееся и мерзкое. Но вскрыв крыльцо, мы под ним ничего не нашли, кроме запаха плесени и, в задней дощатой стенке, нескольких черных дыр, к исследованию которых охоты у нас не было.

Дрожащую и всхлипывающую Амалию Фердинандовну мы увели к себе и, уговорив выпить рюмку крепкой настойки, уложили спать в мезонине нашего дома.

Юлий ушел, а я еще долго слонялся по комнате, прикуривая сигарету от сигареты, пока память не отказалась восстанавливать вновь и вновь события и разговоры этой недели, ставшей уже счастливым, но далеким прошлым. Тогда я решился лечь и мгновенно, как в обморок, провалился в мертвецкий сон.

На другой день, по указаниям Амалии Фердинандовны, мы выкопали ямку у забора в тени и захоронили в ней частично съеденные муравьями останки Китти. А мне не давало покоя навязчивое видение — овальное радужное пятно света и лежащая в нем, конвульсивно вытянув лапы, дохлая белая кошка. Эта картина в мыслях упрямо связывалась со вчерашним сном, вызывая подсознательное чувство вины, хотя я хорошо понимал, что все это — лишь случайное совпадение.

Я не стал рассказывать Юлию о своем сне, ибо этот случай и так произвел на него неприятное впечатление. Он стал запирает двери, перед тем как лечь спать, и вообще, по вечерам выглядел нервно и настороженно. За два дня после отъезда Наталии он получил и отправил несколько телеграмм, и в заключительной из них значилось, что съемки откладываются на месяц.

Он уехал вечерним автобусом, и когда я ходил провожать его, звал ехать вместе в Москву, звал просто так, провести время, сначала как-будто в шутку, а затем все серьезнее, и чем упорнее я отказывался, тем настойчивее он уговаривал. Уже на подножке автобуса, поставив чемодан внутрь, он говорил с легкой досадой:

— Я не могу доказать вам свою правоту, как некую теорему, но поверьте мне на слово — в натуре этого города есть пренеприятная дурь, у меня на это чутье! Он город-

эпилептик. Сегодня он спокойный и сонный, а завтра уже бьется в припадке, и на губах пена — поверьте ноху старого лиса!

— Вы напрасно его обижаете. Он ленивый и тихий город, и вам в нем просто скучно.

— Он слишком тихий — оттого-то и заводится нечисть!

Вместо воздуха здесь прозрачная жидкость, и люди рождаются с жабрами! Смотрите, чтоб и у вас не выросли, вы хотите стать двоякодышащим?

Автобус, словно решив оборвать наш спор, взревел мотором и двинулся, с лица Юлия исчезла досада, оно светилось множеством приветливых и грустных улыбок, и он из-за стекла помахал мне рукой.



Настали томительные дни, с удручающей душной погодой. Голубизна неба, словно пыльным налетом, была испачкана сероватой дымкой, с берега, как обычно, тянул слабый бриз, но он не приносил запаха моря, листья деревьев почти не отбрасывали теней и выглядели сделанными из жести.

Мелкая живность, чувствуя в природе неладное, старалась спрятаться. Как-то вечером, уже за полночь, я курил, сидя в плетеном кресле, и вдруг уловил на полу шевеление — по крашенным доскам, не смущаясь ярким электрическим светом, деловито перебирая лапками, перемещалась лягушка; пропрыгав спокойно через комнату наискось, она скрылась в углу за шкафом. Непостижимо, как она могла миновать высокие ступени крыльца и две закрытые двери, и я, хорошо понимая, что лучше бы всего выкинуть ее на улицу, остался сидеть неподвижно, охваченный неожиданным оцепенением.

Потом в дом проникли цветные мохнатые гусеницы, по толку стали ползать летучие насекомые с раздвоенными хвостами и мягкими длинными крыльями, и в невероятных количествах обычные божьи коровки, преобильно кусавшиеся, и вскоре мне стало казаться, что все нечистые твари из окрестных садов перебрались в мое жилище.

Больше всего действовали на нервы коричневые глянцевиные червяки, очень медлительные и тонкие, похожие на обрывки телефонного провода — к вечеру они выползали на стены, и если случалось одного из них раздавить, раздавался отвратительный тихий хруст и распространялся запах гнили. Не в силах дотрагиваться до этой пакости пальцами, я их стряхивал со стен спичкой в пустые сигаретные пачки и выбрасывал на помойку.

Юлий оказался отчасти прав: в этом городе было нечто, вредно действующее на психику. У меня появилась беспричин-

ная настороженность, я стал на ночь запира́ть двери и проверять задвижки окон. Вечерами мерещилось, что в доме кто-то или что-то прячется, и я с трудом поборо́л возникшую было привычку оглядываться, чтобы убедиться, что за спиной никого нет. Твердо зная, что следить за мной некому, иногда я не мог удержаться и, мысленно ругая себя по слогам идиотом, внезапно отдергивал оконную штору — и конечно за ней обнаруживал лишь черноту стекла.

Микроклимат, объяснял я себе, духота и перепады давления — но от этого легче не становилось. Из пустующей половины дома порой слышались непонятные шумы, и я, чуть не вслух повторяя, что любой звук имеет свою механическую причину и описывается точным уравнением колебаний, тем не менее плохо спал.

Каждый день заходил я на почту и, стараясь казаться рассеянным, протягивал девушке через стойку раскрытый паспорт. Она доставала тонкую пачку конвертов, небрежно и ловко перебирала их левой рукой, одновременно правой возвращая мне паспорт, и качала отрицательно головой. Через несколько дней для этого молчаливого "нет" ей не нужно было смотреть ни письма, ни паспорт, и еще не успев войти, я видел покачивание ее челки.

Оставались поиски дога, куда безрезультатные, они все еще меня связывали с Наталией какой-то нитью — запутанной и готовой порваться и, скорее всего, реально не существующей — но у меня не было сил трезво оценить обстоятельства. Любые сведения об Антонии я должен был переслать в Москву по адресу тетки Наталии.

Город скоро мне опротивел, в нем появилось что-то фанерное, что-то от декараций, забытых давно за кулисами, белесых от известки и пыли. Я решил уехать и назначил себе три дня сроку, но эти три дня прошли, а я никуда не уехал и попрежнему аккуратно являлся на почту.

Поэтому, что касалось дога — тут я готов был клюнуть на любую приманку. Она не заставила себя ждать, и невозможно было придумать ничего ни смешнее<sup>нее</sup>, ни нелепее. Преподнес мне ее Лаврентий Совин, школьный учитель химии, по прозвищу Одуванчик. Он привлекал внимание круглым блестящим черепом,

на котором торчали иглами редкие белые волоски. Лицо его издали казалось застывшим в улыбке, причиной тому был курносый нос и складки около губ; вблизи же, напротив, его выражение было нервным и даже страдальческим. За ним числились, по слухам, чудачества, и его недолюбливали — говорили, чудак он небезобидный, конкретно, однако, известно ничего не было. Мне его показали сначала, как местный курьер, а теперь предстояло иметь с ним дело.

Иловил он меня на рынке в подземном баре. Бар был гордостью города. Раньше тут помещался подвал для хранения овощей, а потом его стены обшили досками, от которых еще сейчас пахло смолой, и поставили стойку. Бочки содержались в прохладе, благодаря чему торговля дешевым сухим вином шла весьма бойко.

Я сюда приходил по утрам, когда посетителей почти не бывало. Предварительно я заглядывал в овощные ряды, где лежали кучами помидоры, такие спелые, что просвечивали на солнце, и выбирал несколько штук. Шесть ступеней, шесть мраморных плит, утащенных, видимо, с каких-нибудь античных развалин, вели вниз, в сумрак погреба — там рыночный шум исчезал, и можно было услышать, как шелестят пузырьки, всплывая со дна стакана.

Одуванчик возник неожиданно, как Петрушка в кукольном представлении, и поставил свой стакан рядом с моим.

— Я вас дома не стал искать. Так для вас будет меньше риска, — он ухитрился произнести эту нелепицу с изрядной значительностью. Я смотрел на него, не скрывая недоумения, но он не смутился:

— Я вас видел на кошачьей пустоши, где статуя черной кошки, я понял, что вы тоже догадываетесь! Вы должны мне помочь, — он понизил голос до шепота, — речь идет о большом зле, о страшной опасности... ведь мы оба служим науке, только на разных флангах... и кому, как не нам... — он умолк на неуверенной интонации, но глаза его блеснули и настойчиво сверлили меня.

— Да что вы, — я старался вложить в слова как можно больше лени и безразличия, все еще надеясь, что разговор заглохнет, — бог с ней, с наукой... я отдыхаю здесь от нее...

— Я понимаю, что я вам не ровня! Простой деревенский учитель! — он обиженно покивал головой, оттопырив нижнюю губу, но продолжал с азартом: — Все равно я на вас рассчитываю! — он дышал энергично и шумно, и в голосе появился металлический призыв, чем-то он напоминал паровоз, готовый тронуться с места. — Когда вы ознакомитесь с моими данными, — останавливать его было уже бесполезно, он успел набрать скорость, — вы поймете, какой страшный зародыш развивается в нашем городе! Что может быть страшнее — если низшие существа научились управлять человеком! Кошки! Не силой, конечно, внушением, незаметно, неслышно... не считайте меня сумасшедшим... я вас смогу убедить...

Меня захлестнула тоска, как в кошмарном сне, когда надо бежать, а ноги не двигаются, и в горле, не давая кричать, поселяется ледяной холод.

— Вы лучше меня знаете, все великие открытия считались сперва бредом! Циолковского объявляли же ненормальным, и некто-нибудь — академики!

Он почувствовал, что я готов от него улепетывать, как от нечистой силы, и решил пойти с козырной карты:

— И вас лично это касается: я о черно-рыжей собаке. Тут я много обещать не могу, скорее всего, ее уже нет, — не сомневаясь, что я проглотил наживку, он, как опытный рыбак, проверял, насколько крепко я за нее держусь, — но ведь вам важны обстоятельства ее гибели?

— Мне все важно, — разрешил я его сомнения, — что вам о ней известно?

— Почти ничего... пока. Вероятно, ее растерзали кошки.

— Вы шутите? Кошки — взрослого дога?

— А если их много? Если их **ОЧЕНЬ** много? — он уперся в меня многозначительным взглядом.

— Чепуха! Да он бегаёт в сто раз быстрее!

— Вы уверены, что тигровый дог будет спасаться бегством от кошек? Пока еще **МОЖЕТ** бежать?

Оказалось, он знает отлично, как называется "черно-рыжая собака". Несмотря на внешнюю бестолковость, у него все время хватало хитрости выворачивать разговор в нужную ему сторону.

- Завтра! Приходите в школу, там ОНИ не подслушают! Но вам нужен хороший повод... - он профессионально выкатил грудь колесом, из этой позы, наверное, он приобщал школьников к премудростям менделеевской таблицы, - сначала нужно зайти... лучше всего к редактору. Что знает редактор, знает весь город! Пройдоха! Скажите, вам нужен анализ грунта! Понимаете? - палец его опустился. - Другой лаборатории нет! Он пошлет вас ко мне!

Я себя чувствовал завербованным шпионским агентом... мне уже давали инструкции... и довольно курьезные...

- По-моему, у вас мания преследования. Я просто приду к вам. Чего тут бояться?

- Нет, нет, не делайте этого! Они раньше времени выведут вас из строя! О, как они коварны! - его носорожьими глазками буравили меня взглядом, словно отыскивая во мне трещину, за которую можно было бы зацепиться. Он рывком наклонился ко мне и произнес медленным шепотом:

- Ваши друзья здесь ничего не добьются, посоветуйте им уехать...

- Так это писали вы? Для чего?

- Хотел вам показать, что смыслу кое-что в здешних делах. Я знал, мы будем союзниками!

---

10

Утром я вышел из дома с отвратительным настроением, будто мне предстояло сделать какую-то гадость. По пути я смотрел внимательно вниз, наблюдая со странным любопытством, как мои башмаки погружаются в рыхлую известковую пыль, оставляя отпечатки, повторяющие каждую царапину на подметках.

Добросовестно следуя инструкции Одуванчика, я добрал до центральной площади и проник в кабинет редактора "Черноморской зари".

- Кого я вижу! - завопил он отчаянно, едва я приоткрыл дверь; на лице его заколыхалась улыбка, словно вода в резиновой грелке.

- Кого я вижу! - проорал он еще раз. - Редкий, редкий гость!

Пока я умещался в вертящемся кресле из белого пластика,

он следил за мной счастливым и укоризненным взглядом, как если бы его посетил любимый непутевый племянник.

— Он курит, я помню, он много курит! — приходя в восторг от этого моего порока, он дергал и тряс ручку ящика; тот, наконец, подался со скрипом и выдвинулся противоестественным образом рядом со мной, снаружи стола — на дне ящика пестрели сигаретные пачки.

— Не эту! Не эту! — он возбуждался все больше. — Американские! Там, в углу!

Дождавшись первых колец голубого дыма, он проследил мечтательно, как они уплыли наверх, и радостно объявил:

— Я терпеть не могу табака! Меня прямо тошнит от него! — не слушая моих извинений, он потянулся к стене и щелкнул выключателем.

Все пространство заполнилось стрекотанием и хлопаньем лопастей, пять или шесть вентиляторов жужжали и пели на разные голоса, устраивая вокруг меня миниатюрный циклон. Дуло со всех сторон, даже откуда-то из-под кресла, на столе с громким шелестом трепыхались бумаги, дым моей сигареты исчезал в этом тайфуне, прежде чем я успевал его выдохнуть. Мне почудилось, что весь кабинет, подобно диковинному дирижаблю, парит уже над землей, и вместе со мной, с редактором, с его сигаретами, полетит сейчас над степью и морем, подгоняемый буйным ветром.

Редактор смотрел на меня, подперев щеки руками, и получал несомненное удовольствие; я решил, что можно перейти к делу.

— Как? Лаборатория? Анализ воды? — улыбка его всколыхнулась волной удивления, постепенно утихшей, лицо разравнялось и стало задумчивым, как блюдо с водой, простоявшее долго в спокойном месте.

— Нет! Чего нет, того нет! И не ищите!

— Неужто и в школе нет кабинета химии?

Его передернуло, и морщины прорезали намскось кожу лица, словно за ней повернулось нечто массивное, твердое и угловатое, вроде литой стеклянной чернильницы.

— Кабинет есть. Но учитель!.. Не годится. Псих, клинический! Он вам не поможет! Да у него все пробирки давно перепутаны!

- Это пустяки, я разберусь.

С сомнением склонив голову, он повернулся в кресле. Взгляд его направлялся на верхние полки книжного шкафа, где я увидел с удивлением белую кошку, спящую на пачке бумаг.

- Попробуйте! Если что выйдет не так, прошу покорнейше, на меня уж не обижайтесь!.. Вон та улица, за рестораном. Школа - дворов через десять. И поменьше с ним говорите. Пакостник!

- А что он делает?

- Все! Все делает! Всюду суется! Все вынюхивает! Вообще с ним лучше не разговаривайте!

С этим напутствием я и ушел, и он на прощание поколыхал мне любезно лицом.

Когда я уже был на площади, от редакции долетел приглушенный крик:

- Кого я вижу!.. туда входил следующий посетитель.

В ресторане гремели посудой, швейцар только что отпер дверь и вынес на крыльцо табуретку, символ его присутствия на посту, и одновременно оповещение горожанам, что ресторан действует. Вид ее подсказал мне способ оттянуть свидание с Одуванчиком.

День был субботний, бар открылся с утра. Лена уже работала, то есть сидела за стойкой со штопором и книгой в руках. Для меня она ее отложила, механическим рассеянным жестом выдернула бутылку из гнезда холодильника и поставила передо мной. Этикетка - сухое вино - выражала ее точку зрения, что именно прилично пить по утрам в одиннадцать.

- Что мы читаем? - спросил я, как мне казалось, беззаботно и весело. Но по-видимому, вышло фальшиво: она оглядела меня, словно врач пациента, округлым движением убрала бутылку и выставила другую, теперь с коньяком.

Я невольно загляделся на ее губы - в меру полные, тонко очерченные и яркого розового, чуть оранжевого цвета. Следов помады, как будто, не было.

Она наклонилась вперед, слегка запрокинула голову и, опустив ресницы, подставила себя моим взглядам, как подставляют лицо дождю или ветру.

- Цвет натуральный, - она снова выпрямилась, - это у нас семейное, у бабушки были такие губы до самой смерти... и даже в день похорон.

В руке у нее, как у фокусника, возникла сама собой рюмка; ее ножка коротко звякнула о стекло стойки, отмечая конец вводной части беседы.

- Вторую! - потребовал я.

Укоризненно покачав головой, она таким же загадочным способом добыла еще одну рюмку; второй щелчок означал, что пора поговорить обо мне.

- Вы пришли о чем-то спросить...

Спросить у нее?... О чем?... Чепуха какая... хотя... можно спросить...

- Что бы вы сделали, если бы вам предложили съесть лягушку?

Она несколько не удивилась, не раздражилась нелепостью вопроса и не стала ничего выяснять дополнительно, а просто заменила мою рюмку стаканом. Это был ловкий трюк - она показала его уже вторично - убрать одну вещь и, взявши неизвестно откуда, поставить на ее место другую, и все это единственным плавным движением. Да и способ изъясняться - с помощью бутылок и рюмок - тоже был недурен, своего рода профессиональный жаргон.

Она снова оглядела меня, но теперь уже не как врач больного, а как профессор студента, перед тем как в его зачетке поставить отметку, налила мне полный стакан, себе рюмку, и убрала бутылку вниз.

Интересно, что мне поставили... это не двойка и не пятерка... если бы двойка, было бы полстакана, а если пятерка, бутылку бы не убрали...

Взяв свою рюмку, она уселась пить поудобнее, поставивши ноги на что-то под стойкой, и колени ее приходились как раз против моего носа. Я смотрел вдаль, близкие предметы двоились, и я видел четыре колена в ряд, четыре круглых красивых колена, как на рекламе чулок. Но вскоре их стало два, и я слишком уж хорошо чувствовал цвет ее кожи - цвет теплого молока, и ее теплую упругость. Она же считала, видимо, интерес к своим коленям совершенно законным, и смущения не



ИСПЫТЫВАЛА.

— Летом плохо в чулках, — она с сожалением погладила ноги ладонями, — а директор настаивает... говорит, пусть лучше кухня обрушится, чем барменша без чулок!

Покончив с сигаретой и коньяком, я встал.

— Ну вот, — сказала она медленно, — я немного вас развлекла... моими губами... и моими коленями... что еще есть у женщины... — она тоже встала и, протянув руку, стряхнула с моего рукава пепел от сигареты, — что-то вас беспокоит... но плохого с вами не будет... если захотите, расскажете вечером...

— А все-таки, — спросил я, — что мы читаем?

Она показала обложку: Джек Лондон, Сказки южных морей.

— Интересно... но как там страшно... они все там живут посреди океана, я умерла бы от страха!

Отсчитавши вдоль улицы десять дворов, я очутился в безлюдном месте. Школьное здание я опознал без труда; как полагается всякой провинциальной школе, она была окружена тополями, и как всякая школа летом, носила отпечаток запущенности. Не верилось, что внутри может быть кто-то живой, даже такая странная личность, как Одуванчик.

И все-таки он там был. Он открыл мне дверь и запер сейчас же снова. У кабинета химии, прежде чем повернуть ключ, огляделся по сторонам, а войдя, первым делом проверил задвижки на окнах и заслонку трубы вытяжного шкафа. Он демонстрировал явственные замашки мелкого сыщика, и я гадал, изобрел ли он их самостоятельно, или насмотрелся детективных фильмов.

Найдя все запоры в порядке, он торжественно протянул мне руку:

— Наконец! Наконец-то! Мне даже не верится! — он часто моргал глазами. — Восемнадцатое июля, запомните этот день! Он войдет в историю науки! Я не успею, но вы, вы-то будете писать мемуары! — он повернулся к столу и дрожащим пером обвел число восемнадцать в календаре красными чернилами.

Потирая энергично ладони, он подбежал к окну, резко остановился и выбросил правую руку вперед, указывая на

ближайшее дерево:

- Ага! Вот уже и подглядывают!

На толстом суке тополя, выгнув спины, яростно шипели друг на друга две рыжие кошки; если они ухитрились при этом подглядывать за нами, их коварство, действительно, превосходило все мыслимые пределы.

- Ничего, ничего! - погрозив кулаком тополю с кошками, он из стола вывалил кучу листов, частью исписанных, а часть с наклеенными печатными вырезками. - Вам нужно ознакомиться с моей картотеккой! А я... вы меня извините! Я так взволнован!

Он удалился к лабораторному шкафу и принялся трясти над мензуркой аптекарским пузырьком, торопясь и разбрызгивая капли по сторонам; до меня докатился удушливый запах валерьянки.

Я взялся за бумаги. Почти все были выкромсаны из популярных научных журналов, хотя попадались выписки и из серьезных изданий - он ездил за ними, наверное, куда-нибудь в крупный город; не брезговал он и газетами. Его занимал любой текст, где упоминались кошки.

"Профессор Кроуфорд /США/ считает, что устройство зрачка и радужной оболочки глаз некоторых представителей кошачьих обеспечивает им, помимо ночного зрения, еще и возможность гипнотического воздействия на прочих млекопитающих. Особенно развита эта особенность у обыкновенной домашней кошки. Относительно того, как данная особенность могла возникнуть в процессе эволюции, профессор утверждает, что здесь могут существовать по крайней мере три точки зрения..."

"... доказано, что структура нейронной сети кошачьего мозга не проще, например, человеческой.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Что же это, профессор, выходит, кошка может быть умней человека?

ПРОФЕССОР ДЮРАН: Приспосабливаясь к нелепому уровню вашего вопроса, если хотите, да! Грубо говоря, у кошки достаточно сложная система связей, чтобы обдумать любой вопрос не хуже человека /это не означает - что она может его обдумать/, но у нее нет ячеек, чтобы запомнить надолго процедуру и ее результаты.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Все равно не поверю, что моя кошка умнее меня!

ПРОФЕССОР ДЮРАН: И напрасно, молодой человек!"

"Лаборатория фирмы Тэкагава продолжает исследование возможностей применения головного мозга животных в качестве малогабаритных биологических компьютеров. При полной загрузке всех клеток одного полушария белой крысы, мощность его превзошла бы самые крупные вычислительные устройства, созданные людьми, однако долговечность такого компьютера составила бы менее одной десятой секунды. В обозримом будущем фирма надеется наладить выпуск дешевых настольных компьютеров на базе композиций из нескольких полушарий головного мозга домашней кошки".

"... но никто из туземцев кошку ловить не решился: кошки, якобы, насылают ужасные болезни..."

"... и Дженни Скопс ответила, что чувствует себя увереннее, когда ее кошка присутствует на съемках..."

Я вытащил наугад еще несколько листков — все они содержали примерно такую же чепуху. Неужели он хочет, чтобы я все это читал?..

Одуванчику, к счастью, не перпелось начать разговор.

— Заметьте, что это, — он любовно пошлепал ладонью бумажную кучу, — я стал собирать потом, когда обо всем догадался.

— Но на чем же основаны ваши догадки?

— Как, вы все сомневаетесь? Это уже не догадки! Вы же знаете, в городе нет ни одной собаки — это они запрещают держать собак! И то, что случилось с вашими друзьями? А вы обратили внимание, какие кошки у всех начальников? Где вы видели белую кошку с такой длинной шерстью? А тут их много, и замечьте, все у начальства! Это они тут всем заправляют, а остальные — на побегушках! Людям внушают, что захотят. Редактора видели? Ни строчки в набор не пропустит, пока кошка, что в редакции, не одобрит!

Я представил себе кошку за корректурой, с толстым синим карандашом в когтях.

— Ну уж это, вы знаете, слишком. Она, что же, макет подписывает, или он читает ей вслух?

- А вы не смейтесь, не смейтесь! Может, и вслух, может, и подписывает. Они все могут! Да, главное, и читать не нужно, он и так, сам чувствует, что ей не понравится! И все другие тоже!

- Отчасти вы правы - в том, что на кошек здесь чуть не молятся. Но вот в Индии, коровы - по-настоящему священные животные, а они, это уж точно, никаким гипнозом не занимаются. Какие у вас основания думать, что сами кошки кем бы то ни было управляют?

- У них есть свой центр - памятник на кошачьей пустоши, их правительство там заседает. Он для них очень важен, и они его охраняют!

- "Заставляют" людей охранять?

- Нет, охраняют сами!

- Не может этого быть!

Одуванчик слегка приосанился, руки его дрожать перестали и глаза многозначительно выпучились.

- Давайте проверим! Вы бывали на пустоши - сколько кошек вы там встречали?

- Не считал... десятка два... или три.

- Дежурные - их всегда столько. Но попробуйте что-нибудь сделать с этим самым памятником - и они соберутся сотнями! Сейчас мы с вами выйдем на улицу...

- Нет, нет, - перебил я его, - объясните мне лучше, чего вы хотите, и зачем я вам нужен? Почему вы не приведете в систему свои наблюдения и сами их не опубликуете?

- Сам? Да меня тут же в сумасшедший дом! Они и так не прочь это сделать! А вы - дело другое, им до вас не достать! Мы должны открыть глаза людям, показать, что ОНИ на все способны. Конечно, это опасно! Да ведь кто из ученых не рисковал жизнью! Это же касается всего человечества! Пока они захватили наш город и владеют им, не хуже, чем какие-нибудь помещики, потом захватят весь Крым, а потом - кто знает, каких они бед могут наделать!

- Но помилуйте, люди и кошки вместе живут не одну тысячу лет, почему же раньше ничего подобного не было?

- Откуда вы это знаете? Кто вам сказал, что они не меняли правительства, как хотели, не начинали войны, не губили целые народы? Нужно еще покопаться в истории. Но

это после, а сейчас главное — чтобы вы мне поверили, поддержали меня! Надо дать им сейчас понять, что мы намерены взорвать памятник, а вечером туда привезем безвреднейший ящик, — неожиданно он хихикнул, — с чистым песочком. И посмотрим, что они будут делать!

— Это кажется мне слишком нелепым. Я участвовать в этом не буду.

— А если я покажу вам труп черно-рыжей собаки?

— Где он?

— Недалеко от города, можно съездить сегодня же. Приходите в семь к западной развилке шоссе, я буду на мотоцикле. А сейчас уж позвольте, по поводу статуи... объявить, пусть покрутятся... Там уж сами решите: не пожелаете, так я один поеду на пустошь.

Я не стал спорить — в конце концов, какое у меня право что-либо ему запрещать.

Мы вышли вместе. У канавы в пыли возились несколько кошек, и Одуванчик, хитро прищурившись, сказал им почти ласково:

— Ну, пришел вам конец, шелудивицы! Конец вашим делишкам и конец вашему памятнику! Конец черной статуе — поняли? И осколков от нее не останется!

В серьезности, с которой он это выпалил, крылось нечто заразное — мне вдруг померещилось, что кошки его слушают с особым вниманием.

Без пятнадцати семь я отправился в путь. Двигался я механически, ощущая пустоту в мыслях. Навязчиво, гулко, как шаги в ночных улицах, в голове отдавались слова, и я с трудом наводил среди них порядок. Я увижу труп черно-рыжей собаки... труп, черно-рыжий труп... и напишу письмо... буду ждать ответа... нет, ждать не буду... ответить попрошу телеграммой... да, телеграммой, и не сюда, в Ленинград... и уеду из этого города... уеду из города...

Чтобы прийти в норму, я произнес вслух:

— Наконец, я уеду из этого города.

Вдали, вдоль цепочки телеграфных столбов, полз игрушечный автомобильчик, зеленый газик с желтыми дверцами — неутомимый майор спешил куда-то по своим милицейским делам. Должно быть, он на хорошем счету у начальства. Да, несмотря на выпивки, несмотря на частые выпивки. Несмотря, на хорошем счету... какое странное слово: счету... почему слова выходят из-под контроля? — выходят из-под контроля... Тьфу!..

Он действительно очень спешил. За ним катилась лавиной белесая пыльная туча, она долго висела в воздухе, скрывая кусты акаций. Пыль не садится на землю, вот почему душно... и Одуванчик не едет, поэтому душно... Одуванчик злодей... кошка просто животное... неприкосновенное древнее животное... а Одуванчик злодей... я тоже злодей... нет, я помощник злодея... помощник злодея...

Одуванчик подкатил со стороны города. В парусиновых белых брюках, в светлозеленой рубашке, он был полон жажды погони и выглядел помолодевшим. В посадке его, в оттянутом вперед подбородке, было что-то собачье, что-то от разгоряченной легавой, идущей по шпильке верному следу; будь у него хвост, он дрожал бы от нетерпения. Мне показалось сперва, он улыбается — нет, лицо его было маской азарта. Мотоцикл, старый, замызганный, трясся, трещал и, как будто, еле удерживался, чтобы по собственному почину не сорваться с места.

Одуванчик все же нашел в себе силы извиниться за опоздание:

— Гнался Крестовский! Выслеживал, бестия! Еле ушел, отсиделся в коровнике! Забирайтесь в коляску. Осторожно, там ящик!

Что-то здесь было не так — сомнительно, чтобы Крестовского мог надуть Одуванчик; я хотел ему об этом сказать, но мотоцикл взревел, окутался дымом и ринулся вперед с громким железным лязганьем.

Дорога медленно поднималась в гору. Мотоцикл, каждый метр преодолевая с трудом, сотрясался конвульсиями, чихал и оглушительно хлопал, казалось, вот-вот он взорвется, но Одуванчик нещадно выжимал из него мощность, словно погоняя усталую лошадь, и стрелка спидометра менее двадцати не показывала.

Мы въехали на плато. Каменистое, голое, испещренное трещинами и извилистыми желобами, оно было похоже на сморщенное, невероятных размеров лицо. Пучки редкой бурой травы едва прикрывали скальное основание, там и тут зияли черные дыры промоин.

— Мраморовидные известняки! — рявкнул мне в ухо Одуванчик. — Дальше пойдут жилы мрамора!

Подъем прекратился, и Одуванчик прибавил ходу. От нас непрерывно разбегались веером суслики, их было так много, будто они специально собрались нас встречать.

Меня резко бросило вперед, мотоцикл упруго присел, раскатиисто громыхнул и умолк. Одуванчик спрыгнул на землю;

— Мраморные карьеры! Четыре километра от города!

Он повел меня в сторону от дороги, и шагов через сорок открылось море. Далеко внизу, недоступное и спокойное, оно играло зеркальными блестками, и над краем его плыло красноватое солнце, словно примериваясь, где ему следует нырнуть в воду.

— Осторожнее! Осторожнее!

Я опустил глаза — в двух метрах от нас был провал в белую пустоту. Внизу, в глубине, скалы, и отдельные глыбы мрамора, и осыпи мелких обломков — все слепило фарфоровой белизной, несколько глыб лежало на дне, белея сквозь синеву воды. Скалы у берега были искромсаны прямоугольными выемками, ступенями, прорезями, как будто здесь великанские дети выпиливали себе кубики. Мы вспугнули стрижей, и они сновали под нами, в наполненном белизной пространстве, черные, как закорючки копоти на крахмальной скатерти.

В планы Одуванчика не входило, чтобы я долго любовался пейзажем.

— Идемте к шурфам! Они свежие, недавно были геологи! — он давал на ходу торопливые пояснения, желая убедить меня в своей основательности: — В этих мраморах что-то ценное... в позапрошлом году били... глубокие, метра по три... стойте, кажется здесь... нет, сюда... сюда, вот он!

В шурфе, на мраморном дне, лежал, выделяясь желтым пятном, скелет крупной собаки, и рядом — клочки черно-рыжей шерсти. Снежно-белые гладкие стены мерцали цветами не-

ба — золотистым и голубым и, казалось, это сияние, отделяясь от стенок, плавает облачком в воздухе.

— Сначала солнце и жажда, а потом муравьи! — важно объяснил Одуванчик; усилившись эхом снизу, слова его прозвучали, как жуткая деловитая эпитафия.

Так вот он, труп черно-рыжей собаки... бедный Антоний... бр-р... какая скверная смерть...

Оттуда тянуло звенящей тишиной и прохладным болотным запахом. Неужто таков запах смерти... запах белого мрамора...

Я почувствовал неприятный озноб, как от недружелюбного взгляда, и стал невольно осматриваться. Одуванчик же, словно нетерпеливый ребенок, тянул меня за рукав к мотоциклу.

— Как его сюда заманили?

— А вот это спросите у НИХ! — его голос был полон самодовольства.

Дорога назад, каких-то несколько километров, была бесконечной. Гадкий озноб в спине не проходил, и никак не удавалось отделаться от этого тонкого болотного запаха, мы везли его с собой в мотоцикле, он исходил не то от брюк Одуванчика, не то от его мерзкого ящика, который ерзал по полу коляски и больно давил мне ногу.

Одуванчик направился к пустоши далеким кружным путем, имея в виду не попасться Крестовскому на глаза, если тот возвратился в город — оттого на кошачью пустошь мы вкатили уже при луне.

Я с наслаждением закурил сигарету, а Одуванчик копался с ящиком, извлекая ~~ящик~~ его из коляски, и отдавал мне последние распоряжения:

— От мотоцикла не отходите! Ни в коем случае! Что бы ни показалось вам, что бы вы не увидели! Главное, чтобы он не заглох! Если пойдут перебои, прибавляйте немного газ, он это любит!

Он удалился к сфинксу, еле видному в свете еще низкой луны, таща с собой ящик, перевязанный крест-накрест веревкой.

Прислонившись к сидению, я терпеливо ждал. Но вот сигарета кончилась — значит, прошло минут десять — а Одуванчика нет.



Мне почудилось, там, у сфинкса, происходит возня. Слышно ничего не было — мешал мотоцикл, мешали цикады, но мне упорно мерещилось, что там что-то творится.

Мотор тарахтел исправно, и я рискнул пойти на разведку. Приближаясь, сфинкс вырастал в размерах, и рядом с ним мельтешили серые тени, теперь было ясно — там шла борьба, молчаливая и отчаянная.

Я побежал. Слева возник новый звук, урчащий, навязчивый, но мне было некогда о нем думать. Я бежал изо всех сил, оставалось еще метров пятнадцать.

В лицо мне ударил свет — я вынужден был оглянуться и потерял пару секунд — это была прожекторная фара автомобиля. Кроме нее и обычных фар, там мелькали еще короткие серо-лиловые вспышки, часто следующие одна за другой. В этих мгновенных импульсах ослепительного мертвого света я и разглядел Одуванчика, лишь только прожектор оставил меня в покое. Его одежда висела клочьями, по светлой ткани расплывались черные пятна. На земле серой живой массой теснились кошки, они на него непрерывно бросались, стараясь повиснуть на нем, он стряхивал их, но тут же прыгали следующие, выдирая из него все новые лоскутья одежды. Я понял, что черные пятна на нем — это кровь. Вспышки выхватывали из темноты жуткие фантастические картины: лиловый изогнувшийся человек и вокруг него неподвижно висящие в воздухе кошки, с лиловой вздыбленной шерстью, с протянутыми к нему лапами, с растопыренными когтями.

Машина остановилась, и прожектор накрыл Одуванчика, но кошки не разбежались. Одуванчик упал. Из машины к нему прыгнули два человека — теперь было видно, что это милиция. Я успел добежать к Одуванчику одновременно с ними, и принялся вместе с ними расшвыривать кошек ногами, но те с нами воевать не решились и оставили нам поле боя и поверженного на траву Одуванчика. Он потерял сознание, и вид его был ужасен — он был весь в крови, на нем не только одежда, но и кожа была сильно изодрана.

Пока мы грузили его в машину, Крестовский, стоя на переднем сидении, продолжал щелкать своей автоматической камерой, поспешно снимая все подряд, кадр за кадром. Я стал

рядом с ним на подножку, машина двинулась. Он успел на ходу еще дважды снять сфинкса, две короткие лиловые молнии осветили феерическое зрелище: черное изваяние, и на нем — на плечах, на хвосте, на лапах, на ступеньках его пьедестала — всюду сидят кошки, черные и лиловые, все они оцетинились и злобно шипят в нашу сторону.

У мотоцикла машина притормозила.

— Прыгайте! — крикнул мне громко Крестовский, и влево, шоферу: — Доставишь домой профессора! — он перегнулся и взялся за руль.

Шофер открыл дверцу и выскочил на дорогу, а Крестовский, успевший ногой уже нащупать акселератор, перебирался на его место. Я спрыгнул, автомобиль надал ходу и скрылся из вида.

Когда я подошел к мотоциклу, милиционер сидел за рулем, и мне пришлось опять забираться в коляску. Мотор не заглох, и я только тут понял, что если бы оставаясь у мотоцикла, то еще, может быть, не успел бы выкурить вторую сигарету.

Он возился на щитке с выключателем, и ему, наконец, удалось включить фару. В ее радужном свете возникла женская фигурка — торопливая настороженная походка, короткая юбка и распущенные черные волосы, перекинутые с плеча на грудь — заслоняясь от света ладонью, она шла нам навстречу.

— Лена!.. Зачем вы здесь?

Она ничего не ответила, беспокойно нас оглядела и, как будто ее мы и ждали, залезла на заднее сидение.

---

## 12

По дороге, от неудобной скорченной позы, мне свело ногу судорогой, и стоя, наконец, на земле, я растирал осторожно бедро, стараясь это делать не очень заметно.

— Тебя подвезти? — спросил милиционер, полуобернувшись к Лене. Судя по тону, он был хорошо с ней знаком.

Она медленно, словно через силу, покачала головой, но продолжала сидеть неподвижно. Потом перекинула ногу через заднее колесо и опустилась на землю.

Мотоцикл уехал, и треск его смолк за изгибом улицы. Стало тихо, так тихо, будто мы были глубоко под водой. Волны жидкого лунного света затопили, залили город и растворили в себе все звуки, все шорохи. Огни нигде не горели, в окнах струилось только лунное серебро — этой ночью, казалось, город впал в летаргический сон.

Судорога меня отпустила, и я, хотя и прихрамывая, мог подойти к Лене. Губы ее шевелились, пытаюсь что-то сказать, и лицо выглядело бледной безнадежной маской. Вблизи я узнал эту, заметную даже сейчас, белизну ее губ, округлившиеся глаза и застывший взгляд — я все это видел однажды — ее, как тогда у моря, мучал животный немой ужас.

— Что с вами, Лена? — я хотел взять ее за руку, но она ошатанулась, точно я собирался ее ударить, и тут же вцепилась в мою руку сама. Ее пальцы были влажными и холодными.

Она не разжимала их ни по пути через сад, ни на крыльце, ни в прихожей, где вдруг остановилась так резко, что мы оба чуть не упали.

— Дверь, дверь... запереть дверь... — умоляла она глухим хрипловатым шепотом.

— Чего нам бояться? Сюда никто не придет!

Она не ответила — не могла или не хотела, и я долго искал ключ в темноте наощупь, на столе среди всякого хлама, досадуя и на собственную неряшливость, и на Лену, не желавшую освободить мне другую руку.

Лунные **квадраты** на полу комнаты вызвали у нее новый прилив страха, и она бросилась задергивать шторы. Ее пугал даже электрический свет — когда я притронулся к выключателю, она буквально повисла на моей руке:

— Не надо... нигде больше нет света... они будут ходить кругом, они найдут нас...

— Кто, они?

Она сразу отпустила меня и отошла, судя по звуку шагов, куда-то к середине комнаты. Я не стал изводить ее и оставил выключатель в покое, но решил, как только она отдышится, все-таки допытаться, чего она так боится.

Шторы были неплотные, кое-какой свет через них просачивался, и я уже мог различать предметы. Я тяжело плюхнул-

ся в кресло и закурил сигарету; огонь спички на миг выхватил из темноты съезжившуюся фигурку Лены, сидящей на моей кровати.

Я понял, что смертельно устал. Какой бесконечный день... И все время перед глазами проклятые кошки — лиловые, злющие, висящие в воздухе с растопыренными лапами, с выпущенными длиннущими когтями.

Сигарета моя догорела, и я потушил окурок, наощупь найдя пепельницу. Кровать беспокойно скрипнула — видимо, огонек моей сигареты Лену как-то подбадривал.

— Мне страшно, посидите со мной, — жалобно позвала она, но уже довольно нормальным голосом.

Я сел рядом с ней и обнял ее за талию — ее била мелкая дрожь. Она тотчас рукой обвила мою шею, я поцеловал ее, и она старательно, даже слишком старательно ответила на мой поцелуй, но губы ее были холодными и одервенелыми. Она искала во мне лишь защиты от страха, и у нее не было никаких желаний, кроме единственного — избавиться от терзающего ее кошмара; первобытный инстинкт подсказывал ей запрячься в теплую тьму постели, как дикие звери прячутся в норах. И я, против воли, готов был поверить в неотвратимость воображаемой опасности, и чувствовал, что в глубине сознания шевелится, пока еще еле заметно, темный необъяснимый ужас.

Я старался его подавить, помня ее гипнотическую способность передавать свои состояния, и испытывал перед ней, прячущей лицо на моем плече, и перед возможной близостью с ней, суеверный страх.

Счастливое наитие подсказало мне верный ход:

— Хочешь водки? — спросил я, неожиданно для себя переходя на "ты".

Она кивнула, и я нашел в буфете бутылку и рюмки. В доме не было ничего съедобного, но выйти на улицу — сорвать хоть несколько яблок — она не позволила, и я где-то был этому рад, в ночном саду мне уже мерещилось нечто безликое, но осязаемо-жуткое. Я поддавался ее внушению.

От водки она начала приходить в себя. Я боялся пока выпрашивать что-нибудь, но она заговорила сама:

– Сегодня страшная ночь... я редко боюсь по ночам... но сегодня такая страшная ночь... еще утром я поняла, что вы пойдете туда... а перед закатом все началось... смерть ходила кругами, кругами... вокруг вас ходила... она и сейчас ходит... по кругу ходит и выбирает... – голос ее стал низким и чуть гартанным, слова, подчиняясь однообразному ритму, звучали странной дикарской музыкой, как заклинания. Наверное, среди ее предков были когда-то шаманы.

– Постой, – перебил я ее, – ничего такого перед закатом не было! Я видел скелет собаки, погибшей плохой смертью, и смотреть было не очень приятно – вот и все.

– Не надо было, не надо... какие безумные люди... и этот майор окаянный, ох, как он плохо кончит... я хотела вас увести, опоздала... теперь всем будет плохо... слишком страшная ночь... всех, всех вызвали... вызвали самых страшных... они сейчас ищут, ищут... – она в такт словам, почти в трансе, раскачивалась из стороны в сторону; ее ворожба меня гипнотизировала. Еще немного, и вместе с ней я начну корчиться от гадкого беспредметного ужаса – нужно было сейчас же, любой ценой, прекратить это.

– Перестань! – я вскочил и, взяв ее руки в свои, встряхнул их. – Тебя мучают просто кошмары! Это нервы, твои нервы, а на самом деле ничего нет, из того, что тебе чудится!

– Не надо так громко, тише, – попросила она, – они ульшат.

– Они! Кто, они? Они – твои собственные видения, твои выдумки, твои нервы! Они! Объясни мне, пожалуйста, – что это такое, они?

– Я боюсь... боюсь о них говорить, приманить боюсь... они меня там заметили, все равно найдут... не хочу, чтоб сейчас... не хочу, чтоб тебя нашли...

– Спасибо! Вот уж "им" была бы находка! – я старался придать своей реплике насмешливость и даже развязность, чтобы не подчиняться внушению, не начать принимать всерьез ее невротический бред. Она это почувствовала и пропустила мои слова мимо ушей.

– Я не знаю, как их назвать... они есть везде... выходят из моря... выходят в неподвижную ночь... как сегод-

ня... а ты видел, как затаился город, как все застыло... Их все чувствует... — она испуганно замолчала, услышав слабый шорох, я замер невольно тоже. И тут за окном раздались отвратительные хлюпающие, клокочущие звуки, словно трель издевательского злобного смеха.

Потом уже я пришел к выводу, что это была ночная песня какой-нибудь травяной жабы, но тогда мне послышалось в ней дьявольское злорадство кого-то или чего-то мерзкого, чуждого, жуткого, и померещилось, что на штору легла тень.

Лену все передернуло, она зажала себе рот ладонью, чтобы не закричать, а другой рукой схватила мое запястье, так что ногти ее больно впились в кожу. Мы выжидали — может минутой, а может, дольше — но звуки не повторялись, и тишина была полной.

— Не могу, не могу больше, — простонала она тихонько. Резко откинув одеяло, судорожным движением она скинула туфли и через мгновение лежала уже в постели, собравшись в комок и укрыв себя с головой.

Я думал, она снова окаменеет от страха, но нет — то ли постель ее защищала, то ли алкоголь сделал свое дело — она выпростала из-под одеяла руку и осторожно, будто с опаской, дотронулась до меня:

— Не сиди, не сиди так, пожалуйста, я буду тебя бояться!

Она успокоилась, лишь когда я устроился рядом, и тесно прижалась ко мне, не давая пошевелиться:

— Подожди... подожди немного... я никуда ведь не денусь... я должна досказать, а то буду об этом думать, будет страшно... а тебе станет противно... — приподняв край одеяла, она настороженно прислушалась, — я знаю, знаю всегда, когда они появляются, когда уходят... сегодня они близко... и сейчас близко... кружат около дома, нас с тобой ищут... холодные, скользкие, жидкие... а один, самый страшный — сверху... расплзся по крыше, по дому, к окнам свешивается... и шарит, все шарит щупальцами, щели ищет, ищет...

— Ты видела осьминога в книжке и забыла об этом, — я твердо решил вразумить ее хоть немного, — ты говоришь: щупальца, холодные, скользкие, это все отголоски страха тепло-

кровных перед рептилиями, и очень жестокого страха, ведь выжидали те, у кого он был сильнее! Но тому уж не один миллион лет!

— До чего же ты образованный, — она тихо засмеялась, и я попытался ее поцеловать, но она прикрыла мне губы ладонью, — а знаешь, как я их чувствую? Вот в этих местах! — она передвинула руку и тронула пальцем у меня за ухом. Темная волна жутки внезапно приблизилась снова, грозя захлестнуть сознание.

— Хорошенько запомни, — во мне поднималось нешуточное раздражение, — все это, от начала и до конца — химические процессы в твоем мозгу, и ничего больше!

— Это хорошо, что ты так думаешь, — она смеялась уже вслух, — тебя они, значит, не замечают, у них нет над тобой власти.

Она закрыла глаза и поцеловала меня, и губы ее теперь были теплые, влажные и требовательные.

Потом меня сморил сон, точнее, не сон, а напряженное беспокойное состояние, полуявь, полудремота. Я все время ощущал руку Лены, время от времени теребившую мне плечо, чтобы я не спал слишком крепко. А перед глазами мелькали яркие беспорядочные видения, словно обрывки цветных кадров — белые мраморные карьеры над синей водой, черно-рыжая шерсть на мраморе, лиловые шипящие кошки и полная луна над степью. Еще я плутал в чем-то вроде траншей, выбитых в мраморе, в бесконечном мраморном лабиринте; со стен его, как в музее, смотрели белые барельефы, лица мужские и женские, и мне нужно было найти среди них мое собственное лицо. Когда я к ним приближался, они оживали и беззвучно шевелили губами, но я откуда-то знал, что все они говорят одну и ту же фразу: "Разгадай мою тайну!" Я подходил еще ближе, пытаюсь узнать их, но они расплывались, наливались изнутри мутной жидкостью, превращаясь в нечто похожее на гигантских амёб, и выставляя чудовищные ложноножки, ползали по стене, быстро высыхая на солнце, и от них на мраморе оставались потеки лишайника. Я нашел, наконец, собственное лицо и узнал его, хотя оно было вовсе на меня непохоже, оно мне улыбалось одними губами, и в улыбке этой было столько нечеловеческой жестокости, что должно было сейчас же случиться что-то нево-

образимо ужасное, и бежать уже было поздно. Я пытался успокоиться тем, что все это сон, но меня продолжал душить ужас.

Лена дергала меня и трясла, пока я не проснулся совсем:

— Не спи, нельзя спать, когда они рядом... от них такие кошмары, умереть можно...

Мне казалось, все это длилось невероятно долго, но Лена сказала, я спал не более часа. Как ни странно, я чувствовал себя отдохнувшим.

Она же спать и не думала, и лежа теперь на спине, всматривалась в потолок, словно ожидая увидеть там что-нибудь важное.

— Да, — сказала она неожиданно, села и стала прислушиваться, — да!

Она коротко засмеялась, скинула одеяло на пол, подбежала к окну и, раздвинув шторы, распахнула створки наружу.

Потоки света полной луны нахлынули в комнату и растеклись по стене, рисуя на ней кружевные тени листвы и силуэт Лены. Я залюбовался ее тенью и впервые за ночь подумал о том, как она красива. Ветер за окном шелестел листьями, и тени вокруг нее слегка колыхались. Комнату постепенно наполнял аромат спящих кустов.

Она вернулась ко мне, тормошила меня, смеялась, целовала и снова смеялась — как человек, от радости помешавшийся, а после легла рядом, и целовалась уже без смеха, и ласкала меня так отчаянно, точно это была в ее жизни последняя ночь с мужчиной.

Когда она, успокоившись, лежала совсем тихо, я думал, она захочет поспать, но оказалось, что ничего подобного.

— Где у тебя сигареты? — не успел я ответить, как она их нашла сама и принесла вместе с пепельницей в постель. Но ей этого показалось мало:

— Я хочу еще чего-нибудь выпить!

Она покопалась в буфете, но нашла только водку, принесла ее тоже в постель и стала расставлять между нами рюмки. Это было очень смешно, и остатки сонливости у меня улетучились.

От водки она закашлялась:

— Ну и гадость! Я принесу яблок!



Она настезь открыла дверь, и в прихожую, и на крыльцо, и как была, совершенно голая, отправилась в сад за яблоками.

Вернулась она с грудой холодных, покрытых росой яблок, часть — прямо с листьями, и высыпала их мне на колени. В полосе лунного света — казалось, она в нем купается — на лице ее, на плечах, на груди, мерцали капли росы, которую она натрясла с веток, пока рвала яблоки.

Мы пили водку и заедали ее еще влажными яблоками, и смотрели, как в лунных лучах от наших сигарет плавают кольца дыма — и не хотелось помнить мрачную и недобрую, первую часть этой ночи. Но из нее в моей памяти засела одна фраза — "этот майор окаянный", и я все не решался спросить, что это значило, из боязни испортить ей настроение. Но, как видно, запас жизнерадостности у нее был сейчас безграничным.

— За что не люблю Крестовского? Да я его ненавижу! — она откусила с удовольствием яблоко и продолжала с набитым ртом: — Он заставил меня переспать с ним! Он тут большой человек, кого хочешь со света сживет!.. Да не в том дело. У меня к нему — как ты сказал? — ненависть теплокровного к рептилии... мне кажется, он изнутри жидкий!

— Как так, — не поверил я, — он довольно костляв!

— Ну и что? Это только снаружи, как устрица — сверху раковина, а внутри студень! Он тоже оттуда, из моря, он ИМ родственник, он у них свой! Когда он со мною проделал все, что хотел, я встать не могла — меня всю свело от страха, казалось, ОНИ все собрались, смотрели и радовались! Чего-то он понял, сказал, больше не тронет — думает, поступил благородно, — она откусила еще раз яблоко и, смакуя слова, закончила, — а я его все равно ненавижу!

Она доложила все это беспечным тоном, но бросала исподтишка любопытные взгляды, проверяя, насколько ей удалось меня шокировать. Внезапно ей надоело валять дурака, и она на минуту задумалась.

— Я сегодня ему зла пожелала... когда шла на пустошь... а зря... если я желаю злого всерьез... ночью... то обязательно сбудется... это темная власть, за это мне еще придется расплачиваться... ему будет плохо... и мне будет плохо... — она помрачнела и немного ссутулилась, испортил

я все-таки ей настроение, — да ну его, этого майора... я хочу под одеяло... давай уберем все это, — она невесело усмехнулась, — а то здесь для нас не осталось места...

Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко, и Лены не было. На подушке ее, во вмятине от головы, лежало оранжево-красное яблоко, на черешке, с двумя листьями.

Разбудили меня стуком в дверь, чтобы вручить повестку, обыкновенную милицейскую повестку: "Гражданин... предлагаю явиться... к... часам... по делу..." Многоточия заполнены не были, зато наискось шла размашистая надпись: "Постарайтесь зайти до обеда", придавая этому приглашению несколько домашний оттенок; получилась как бы визитная карточка, хотя и не лишенная зловещего смысла.

Умышленно или нет, но времени для размышлений он мне не дал, и это уже настораживало. Домыслы Одуванчика — чушь; это во-первых... Все должно иметь разумное объяснение... а если все-таки... нет, нет, чепуха... Другая ниточка — майор Крестовский... почему он опасен? Не считаю же я его кошачьим агентом?... А может, наоборот, майор как-то использует кошек? Играет на суевериях... он ведь здесь окружен неким мистическим ореолом...

Последняя мысль показалась мне спасительной, ибо давала моральное право, не веря выдумкам Одуванчика, не доверять и майору, и хитрить с ним.

Он встретил меня радушно и сразу перешел к делу:

— Ваш учитель в больнице, говорят выживет. Пока без сознания. Сильный шок и потеря крови. Если протянет ноги, меня ждет в управлении неприятнейший разговор!

Перед ним было два стола: один огромный и совершенно пустой, и другой, поменьше, сбоку, на котором покоились в безупречном порядке, как в музейной витрине, разнообразные трубки, штук двадцать, не меньше. Он усадил меня за стол с трубками, что, несомненно, было благоприятным признаком. То и дело он поднимал со стола одну из трубок, чистил ее щеточ-

кой и осторожно укладывал на прежнее место.

- Но объясните, пожалуйста, как вы оказались в его мотоцикле?

- Он мне показал труп дога, я его разыскивал.

- А, вот оно что! Красивый был пес... А что вам нужно было на пустоши?

- Мне ничего. Он просил меня подождать в мотоцикле, но мне почудилось что-то неладное, и я пошел за ним.

- А ему что там было нужно?

- Толком не знаю. Что-то проверить, его собственные научные изыскания.

- Ха-ха, вот потеха! Это чучело еще что-то исследует! А что же именно?

- Не знаю.

Мой ответ его огорчил. Он умолк, и бархатной тряпочкой долго полировал очередную трубку.

- Ох, профессор! - он сокрушенно покачал головой. - Да это же уголовщина! Вот наделали дел!

- Каких таких "дел", майор?

- Потревожили ни в чем не повинных животных, пинали ногами, из-за вас мы троих задавили, а покалечили сколько! - мне стало казаться, что он издевается.

- Да у вас же не заповедник! И они человека чуть не убили!

- Он сам к ним полез!

- Не знаю, не знаю, майор... признать уголовщиной ЭТО мог бы лишь суд, где судьей сидела бы кошка, и на месте присяжных - тоже кошки.

Он смотрел на меня исподлобья, как бы ожидая дальнейших пояснений.

- Хорошо... А вооруженный налет на памятник архитектуры? Столичный ученый, как террорист какой-нибудь, разъезжает туда-сюда с бомбой?

- Не видал никакой бомбы!

Он помедлил, потом, наклонившись, пошарил у себя под ногами и выставил передо мной одуванчиков ящик.

- Сделано, в общем, грамотно... - ворковал он над ящиком, снимая бережно крышку, будто там был старинный фарфор, - химик все-таки... и часики были... если вот эти проволоочки

коснуться друг друга, — он поиграл какими-то проводами, — мои трубки уж больше никто не набьет табаком!

Словно вдруг испугавшись реальности такой перспективы, он потянул к себе трубку с черным резным чубуком и принялся ее набивать.

— Одного понять не могу: как она не взорвалась в мотоцикле? В электричестве он ни черта не смыслит, вот уж ваше слепое счастье... Кстати, я поздравляю пана профессора! Вы катались верхом на собственной смерти — это не всем сходит с рук! Вы бы въехали на тот свет в недурной компании! — что-то в трубке ему не понравилось, он вытряс табак в пепельницу, прочистил мундштук щеточкой и стал набивать снова. — Поймите меня правильно: я не собираюсь начать против вас уголовное дело, да и не мог бы. Я хочу вас предостеречь... Люди науки в житейских делах легкомысленны... Вы связались с подозрительной личностью, мало того, что он вас чуть не угробил, он хотел еще взорвать памятник! Разве это способ исследования?

— Здесь какая-то путаница, — заупрямился я, — не мог он его взрывать. Не сумасшедший же он!

— Само собой, сумасшедший, — майор благодушно попыхивал, раскуривая свою трубку, — не сомневайтесь... и лучше с ним не водитесь!

Его оба стола, и трубки, и злополучный ящик утонули в пластах дыма. Я вытащил сигареты, и он любезно поднес мне спичку.

— Я боюсь вот чего, — он глядел на меня недоверчиво, — вам везде теперь будет мерещиться кошачий заговор, это бывает с приезжими. Вы попытаете устроить шум, вас, конечно, поднимут на смех, но скандал есть скандал, а провинция есть провинция — и моей карьере конец! И, спрашивается, из-за чего — из-за того, что в маленьком городе жители слишком сильно любят своих кошек!

Ах, вот в чем дело!.. Пришла моя очередь задавать вопросы:

— Я тоже так думал. Но вчерашнее — как вы его объясните? Почему они все взбесились? Да и где это видано, чтобы они нападали на человека, и еще стаей, как волки?

Он достал из стола бумажку с цифрами, будто заранее написанный ответ на мои вопросы.

- За три года, последние три, ваш учитель в различных аптеках района купил девятьсот с лишним пузырьков валерьянки, то есть почти двадцать литров. Это не человек, а губка, пропитанная валерьянкой!

Я вспомнил дрожащие руки, мензурку и голос: ... я так взволнован!

- Так чего же вы хотите от кошек? Обмажьте вареньем и ложитесь спать в муравейник! Одно и то же!

- Ну, а зачем они забрались на памятник? Помните, сколько их было?

- Дошкольный вопрос, профессор! Если кошка хочет удрать, что делает кошка? Кошка лезет на дерево... или на что попало.

- Но откуда их столько? Для чего они там собираются? И почему вчера именно - ведь не каждую ночь они там торчат!

- О, это уже история!.. Там была пристань рыболовецкой артели, там же рыбу сортировали, разделявали, солили. Тогда-то и развелись кошки, они поедали отходы и плодились в страшных количествах. Потом санитарный инспектор прикрыл это дело. А они, по привычке, что ли, все равно там болтаются... берег плоский, вровень с водой - в отлив разная живность копошится по лужам - вот и еда... Что еще, почему вчера? Полнолуние! Полнее луна, выше приливы, лучше добыча!

Ответы его были словно разложены перед ним на столе, как деньги у расторопной кассирши, и он не глядя выбрасывал мне нужный набор монеток. Я же чувствовал себя простаком, которого дурачат на ярмарке, а он все не может понять, как это так получается.

- Если вся загвоздка в валериановых каплях, то зачем пан майор так подробно фотографировал? Все подряд и без передышки? Уверяю, ваш вид был вполне серьезен!

- Помилуйте, пан профессор, как мне не быть серьезным - я же на работе! А снимки - на случай придираков... начальство... - он усмехнулся и направил под стол густую струю дыма. - И еще, я фотограф-любитель, разве вам не насплетничали?.. Затмение снимал год назад в телескоп - так, поверите ли, ввзяли журналы... цветной снимок, могу показать...

Я не мог придумать новых вопросов, разговор был, как будто, закончен.

— У меня к вам просьба, профессор. Вы то поиграли в индейцев, и делу конец. А мне придется отчитываться... замять невозможно, необычное дело, все равно станет известно. Будут спрашивать разные глупости — почему не давали предупредительных выстрелов, почему при проведении операции отказались от использования взрыв-пакетов... как у вас на ученых советах, — трубка его догорела, он ее выколотил, и теперь чистил ершиком. — Опишите подробно все, что вы вчера видели! Про собаку не надо, только на пустоши. Машинка в соседней комнате, пишите, пожалуйста, три экземпляра. И главное, перед подписью — все ваши чины, все ученые звания, не забудьте... Провинция есть провинция!

---

14

После событий того дикого дня и сумасшедшей ночи следующие несколько дней рисуются мне до сих пор неясно. Я чувствовал, вот-вот должно что-то случиться, и даже жил в определенном ожидании этого "чего-то", как в шахматах ждут хода противника, но не давал себе труда хорошенько подумать, что это будет за ход. Из этой бестолковой расслабленности жизнь меня вывела резким и довольно жестоким толчком.

То, ради чего я застрял в городе — письмо *б* с докладом о мрачной судьбе Антония и его мраморной гробнице — написано пока не было. Мне казалось, оно обязательно свяжется с дальнейшей моей судьбой, и хотелось писать его, имея в мыслях какую-нибудь ясность. О главной же причине промедления я тогда не желал себе дать отчета: письмо означало точку, жирную точку, замыкающую главу, и руки отказывались ее ставить. Письмо написалось вскоре, само собой, как только выезд из города стал невозможен.

Припоминаю, что самым отчетливым чувством тех дней было раздражение против Крестовского. Мало того, что он вызвал меня в участок и допросил, как карманного вора, теперь он установил за мной бесцеремонную слежку. Он встречался

по десять раз на день, иногда совсем в неподходящих местах; стоило мне отправиться гулять в степь, тотчас мимо пылил, как деловитый жук, газик с желтыми дверцами. У него еще хватало нахальства при каждой встрече изображать радостную удивленность и махать из машины рукой. Я измышлял разнообразные способы отделаться от него, но все мои уловки не имели успеха. Только раз удалось улизнуть от него надолго, и тогда же со мной произошел сквернейший случай. Кажется, это было на пятый день после той ночи.

Я завтракал на бульваре в столовой, и со скукой смотрел на столь надоевший зеленый газик, в лучах солнца искрившийся каплями утренней обильной росы. Трижды в день я сюда заявлялся принимать пищу, кстати довольно скверную, главным образом, чтобы досадить Крестовскому — вот, мол, ваш поднадзорный.

Дверь отделения хлопнула и выпустила шофера, который лениво поплелся к машине, выражая однако лицом спешку и озабоченность. Мотор, как на грех, не завелся, и бедняге пришлось начать в нем копать. Тут же вышел Крестовский, в форме, спешивший уже неподдельно, на ходу он застегивал пуговицы мундира, другой рукой шарил в полевой сумке, и отпускал в адрес шофера отрывистые, видимо нелестные, замечания. Я впервые видел его по-настоящему раздраженным, и это доставило мне некоторое удовлетворение; если бы, конечно, я знал, отчего он торопится, то вряд ли стал бы злорадствовать.

К полудню в городе только об этом и говорили: на берегу двое парней с нефтяной вышки изнасиловали и убили молодую курортницу. Такие дела, признанные нормальными на окраинах больших городов, здесь пока не случались, и следственно, происшествие будет поставлено в минус районным властям — оттого-то майор и нервничал.

Народ возбужден был до крайности, не столько самим фактом, сколько сопутствующими обстоятельствами. Легкомысленная девица, не зная того сама, возродила небезызвестный культ древности — она загорала целыми днями в пустынном месте и ни в чем не отказывала забредавшим туда мужчинам, находя интерес в гадательном характере такого контакта с сильным полом. В подобных условиях факт изнасилования становился совер-

шенно абсурдным, и все-таки были свидетели именно изнасилования.

Я никогда не думал, что в сонном заштатном городе можно в одно утро взбудоражить поголовно все население. Даже у самых благонаравных девиц, шептавшихся за калитками среди мальв и подсолнухов, сквозь гримаски брезгливости, в глазах теплился загадочный огонек. Мужчины, улыбаясь откровенно и сально, перебрасывались короткими фразами и возбужденными смешками, и по-особому фамильярно заговаривали на улице с незнакомыми женщинами. Больше всех суетились старухи — они парами или по-трое, на крылечках, у дверей магазинов, просто на мостовой, вслух, не снижая голоса, с горящими любопытством глазами, смаковали детали, не смущаясь никакими подробностями. Ходячее мнение было — парней не судить, отпустить, да и все; а вот если бы девица осталась жива — ее расстрелять; заодно осуждалась вся молодежь, водка, женские брюки и местные власти; предлагалось также запретить загорать и купаться вне городского пляжа и в необычное время.

Над пыльными улицами, над съезжившейся от зноя листвой, над раскаленными черепичными крышами витал дух недоброго и мрачного соблазна, словно злая комета, промчавшись в небе, подчинила весь город разом своему влиянию. Мы будто попали в поле гигантского страшного магнита, наделенного властью вращивать зародыши зла; мне мерещилось, я чувствую, как в собственном моем сознании оживают, до сих пор неведомые, злокачественные клетки, пробуждаются ростки скверноты.

Меня потянуло к морю. Бессознательно выбрал я тот же путь, по которому шел в самую первую ночь, ставшую сейчас такой далекой и сказочной. Да, тогда шагалось легко, а теперь я старался, как мог, изобразить бодрую походку и все время с нее сбивался.

Я подошел к воде, присел и погрузил ладони в пену прибоя, как в ту первую ночь. Мне казалось, я действую не по собственным импульсам, а расслабившись, выполняю чужую, неизвестную мне, но не враждебную, волю, вернувшую меня к исходной точке круга, чтобы напомнить мне что-то, чтобы я пережил еще раз ушедший, казалось бы, в прошлое кусочек жизни.

И я, человек из той ночи, не чувствую зноя, не видел спящих бликов на волнах, а ощущал лишь прохладу воды, ос-



тавляющей песок на ладонях, смывающей тут же его и приносящей снова. Другой же, сегодняшний я, хладнокровный и рассуждающий, ясно видел сверху, как с воздушного шара, голубую воду, играющую легкими волнами, жемчужно-серый, тяжелый и влажный песок, кружевную кайму из пены, трепещущую от ветра и волн, и человека, склонившегося над этой границей между двумя мирами. И тот, кто смотрел сверху, знал все, что дальше случится с тем, который сидел внизу. Это странное ощущение раздвоения не покидало меня весь день, по крайней мере, до того момента, когда я перестал ощущать что бы то ни было.

Человек внизу поднялся и пошел вдоль берега, к маяку, виднеющемуся белой короткой царапиной на серо-голубом фарфоре горизонта, а тот, другой, наверху, размышлял об этом холодно и насмешливо. С отъезда Наталии я упрямо избегал пустоты, мне казалось, она что-то хранит от пасторали тех дней, аромат или музыку, и было страшно неосторожным вторжением разрушить хрупкость воспоминаний. Ночь лиловых бешеных кошек уничтожила все, и теперь тот, сверху, спрашивал, вежливо улыбаясь: мой наивный друг, зачем себя мучить напрасно, неужели ты думаешь, хоть что-нибудь там осталось?

Черный силуэт сфинкса вырос над плоским берегом, и я привычно расположился курить на теплом шершавом камне его постамента. Несколько кошек носились, догоняя друг друга и наклоняясь на поворотах, как мотоциклисты на трекке; сверху были видны округлые петли узоров, что они рисовали на буровой траве.

Ах, мой умный друг, конечно осталось... осталась нежность и, увы, горечь... как давно это было... как все теперь недоступно...

А впрочем, не пора ли проснуться?.. Что за гипнов?.. Во-первых, письмо, поскорее... и больше здесь не торчать... ехать, ехать в Москву... найду, человек не иголка... там и Юлий поможет... и главное, сегодня же отправить письмо...

Я стал лихорадочно шарить в карманах: хотя бы клочок бумаги — но, как на зло, ничего не было.

— Дяденька, дай закурить! — произнес голос с глухими неуклюжими интонациями, похожими на непонятный акцент.

Галлюцинация, подумалось мне — память по собственной прихоти воспроизвела фразу, слышанную раньше на улице. Но у самых моих глаз возникла рука, мускулистая, грязная, протянутая в ожидающем и требовательном жесте. Я взял со ступени открытую пачку, протянул ему и поднял глаза. Парней было трое, все в замызганных клетчатых ковбойках; двое особого интереса не представляли, а вот на третьего, что стоял поодаль, стоило посмотреть. Массивный и глыбоподобный, он был на голову выше своих приятелей. Его толстые, с мускулатурой мясника, руки, не сужаясь в запястьях, прямо переходили в кисти. Страннее всего был взгляд — без сомнения зоркий, но отрешенный, как у наркомана; на плоском лице блуждала неопределенная улыбка. Он вовсе не походил на идиота, но в уме своем, видимо, был настолько незаинтересован, что воспринимал его почти как физиологически ненужный придаток; подобно звукам в пустом запертом зале, в нем бродили какие-то мысли, порождая удивившую меня отвлеченную улыбку.

Первый из парней, запустив пальцы в мои сигареты, вытащил чуть не полпачки и со смущенно-наглым смешком взглянул на меня, как бы спрашивая разрешения. Вместо ответа я спрятал пачку в карман, и все трое, повернувшись без слов, направились вразвалку к дороге.

Не желая еще раз встречаться с ними, я выждал, пока они удалились, и пошел к городу не по дороге, а вдоль полосы прибрежья по мокрому плотному песку. И снова, как с птичьего полета, я видел прихотливый узор вскипающей пены и цепочку моих следов, смываемых волнами.

Вскоре я заметил опять своих знакомцев. Они сидели на пыльной обочине и пили водку из горлышка, передавая друг другу бутылку. В центре важно восседал глыбообразный, и они втроем напоминали заседание некоего подозрительного трибунала.

Когда я поравнялся с ними, крайний слева стал показывать на меня пальцем с каким-то глупым кудахтающим смехом. По-видимому, им было смешно, что я иду по песку, когда рядом проходит дорога, как, впрочем, и мне было непонятно, почему они пьют теплую водку, сидя в известковой пыли, если рядом есть и трава, и плиты камня у моря.

Неожиданно левый, переставши кудяхтать, поднял небольшой камень и бросил в меня — камень просвистел мимо и плюхнулся в воду. Парень же тотчас запустил еще один голыш, который попал мне в ногу; после этого метнул камень и правый, а за ним глыбообразный.

Особой злобы в них видно не было, и я не сразу сообразил, что, вот так развлекаясь, они преспокойно могут меня прикончить. Я круто свернул и побежал к ним: ведь не смогут же они убить, ни с того, ни с сего, стоящего перед ними человека! Могут и убить — откомментировал мой двойник, наблюдавший всю сцену сверху и, как ни странно, продолжавший существовать. К сожалению, быстро бежать я не мог — песок здесь был уже рыхлый.

Они, очевидно, поняли тоже, что если я окажусь перед ними вплотную, они просто не будут знать, что со мной делать — град камней участился, и камни стали крупнее. Я, как мог, защищал лицо, но скула и подбородок были разбиты; боли я как будто не чувствовал, во всяком случае, ее не помню, и ощущал только толчки от ударов.

До них оставалось еще шагов десять, и тут глыбообразный встал во весь рост с большим валуном в руках: они считали, правила игры уже установлены, я должен идти вдоль берега, а они будут кидать камни, и теперь он показывал, какое наказание мне грозит за грубое нарушение правил.

Из-за булыжника я слегка зазевался и получил тяжелый удар повыше уха, и еще один, в щеку; я думал, что продолжаю бежать, но неожиданно оказалось — сижу на песке, и он подо мной кружится и качается.

С трудом остановив вращение песка, я нашел взглядом противников — правый кидаться перестал, левый же, наоборот, действовал с максимальной скоростью: один камень еще не успевал долететь, а он уже бросал следующий, и я вяло пытался от них отмахиваться. Глыбообразный стоял с валуном и с недоумением смотрел на него, словно он к нему в руки свалился с неба. Внезапно он повернулся к левому и с маху обрушил валун на его голову.

Я звука не слышал, но удар почему-то отдался во мне болезненной судорогой. Парень стал оседать, потемнел, сплюснулся и расплылся в огромное черное пятно, застлавшее мне

Пришел я в сознание дома, в собственной постели. Рядом сидела Амалия Фердинандовна в кружевном белом переднике. Мне это показалось смешным, я вообразил ее хозяйкой кондитерской, и стало еще смешнее.

Увидев, что я очнулся, да еще улыбаюсь, она просияла от радости. Она что-то хотела сказать, но передник так занимал меня, что я ее перебил:

- А зачем вам передник с кружевами, Амалия Фердинандовна?

- Вы должны закрыть рот и молчать, вам совсем нельзя разговаривать, так приказал доктор! Лучше я буду что-нибудь говорить, а вы будете это слушать! Вы так ужасно меня напугали: целую ночь без памяти! У вас был даже бред, я дрожала от страха! А передник вместо халата, чтобы вы знали, что вы настоящий больной и должны меня слушаться!

Она уплыла на кухню и вернулась с чашкой бульона. Есть самому она мне не позволила - так приказал доктор - и стала кормить с ложки.

Меня продержали в кровати еще три дня. Дважды в день из больницы приходила сестра делать уколы, а в остальное время Амалия Фердинандовна кормила меня бульонами, пила чаем с пахучими травами и развлекала своей болтовней.

- Утром, когда вы спали, приходили разбойники, те самые, что хотели вас убить. Представьте, майор Владислав посоветовал им идти к вам извиняться, чтобы их не посадили в тюрьму! Я испугалась, но поставила их на место. Я сказала: вам полагается находиться на каторге, а профессору вредно видеть ваши ужасные лица! Лучше отправляйтесь в церковь и поставьте свечку за здоровье профессора! Но им даже это нельзя, майор Владислав запретил им выезжать из города!

Она могла говорить часами без передышки, да в общем-то так и делала, когда убедилась, что я более или менее оправился. Это было бы невыносимо, если бы не детская чистота ее восприятия, и еще, пожалуй, мелодичный поставленный голос.

Вникать в ее речь все время было невозможно, она этого и не требовала, но изредка я прислушивался, чтобы не пропустить чего-нибудь интересного.

В тот день, когда кончилось мое заточение, она отлучилась с утра на час или больше, а я сидел под виноградом на садовой скамейке /так приказал доктор/ и радовался тому, что небо безоблачное, голубое и безразличное, что тени виноградных побегов легкие и прохладные, и что на улице нет прохожих и не нужно ни с кем разговаривать. Я удивлялся тому, что не тянуло выходить за калитку и даже не тянуло курить.

Явилась Амалия Фердинандовна с видом торжественным и какой-то бумажкой в руках. Бумажка эта вызвала у меня невнятное раздражение, как возможный источник беспокойства. Секунду я еще надеялся, что бумажка случайная и ко мне отношения не имеет — но нет, она несла ее бережно, мне напоказ перед своей пышной грудью.

— Теперь я могу вам сказать! Я так мучилась эти дни, но боялась вас волновать: Леночка очень больна, она больше недели в больнице! Вирусный грипп, говорит доктор, но делает такое лицо, что становится страшно! А майор Владислав не велел к ней пускать, ей даже не с кем поговорить — и почему он распоряжается, он же не главный врач! Я думаю, за этим скрываются чувства, он ведь раньше за ней ухаживал! У него ничего не понять, майор Владислав, он таинственный, как граф Монтекристо! И все-таки я добилась, я уговорила его, ради вас! — она протянула мне слегка уже смятый листок.

Записка была лаконичной: "Пропустить в палату номер двенадцать", и подпись, для чтения невозможная, но знакомая всему городу, подпись, похожая на ряд узелков, завязанных на проволоке.

Я повертел бумажку в руках — на обороте было послание для меня: "Если достаточно хорошо себя чувствуете, после больницы зайдите ко мне".

Не идти было неудобно, но собирался я медленно и неохотно, с ощущением, что все это специально подстроено, чтобы не дать мне покоя и испакостить настроение.

Но оказалось, майор и больница — это еще не все. Когда я шел мимо почты, на крыльцо выбежала девушка, та самая, что столько раз возвращала мне с безразличием паспорт. Сейчас

она млела от любезности:

— Загляните к нам на минуточку! Что же вы не заходите!

Если бы мне вручили письмо от марсианина, я, наверное, не был бы так ошарашен. Розоватый изящный конверт, яркая марка в углу и лиловые строчки адреса, написанные небрежным почерком — казалось, письмо пришло из чудесного недоступного мира, где все весело, красиво и беззаботно.

Я брел по бульвару и дивился своей бесчувственности. Еще две недели назад это письмо было бы сказочной драгоценностью, источником безмерного счастья, а сейчас — я был лишь слегка взволнован и притом хорошо понимал, что волнение это, в основном, дань прошлому, память о тогдашнем моем состоянии. Думать об этом было невесело, и я вдруг взглянул на розовый конверт с неприязнью — что они, сговорились, что ли, причинять мне сегодня беспокойство?.. Как нелепо все получилось... Ночь, когда были лиловые кошки, она, эта ночь, что-то съела, что-то отрезала... Как давно это было...

Нашлась, наконец, скамейка, затененная ветвями акаций, и я разорвал конверт.

"Милый, вот я и в Москве. Заходила к тетке, думала, от тебя будет весточка. Почему-то я беспокоюсь, у тебя все в порядке? У меня тут по горло дел, недели на две, а то и больше. Постараюсь с ними расправиться поживее, а потом приеду к тебе, если захочешь. А знаешь, я по тебе соскучилась. Напиши о своих делах. Конверт не выбрасывай, на нем мой новый адрес. Целую и жду вестей. Н."

От письма веяло уютом, и оно всколыхнуло то, что казалось забытым. Поехать в Москву?.. Немного оправиться и поехать... а если это ей неудобно... впрочем, есть телеграф...

Я перечитал письмо еще раз и сунул в карман — там зашелестела записка Крестовского. Экий проныра... теперь-то чего он хочет?.. даже любопытно... и главное, зачем ему нужно, чтобы я посетил больницу?.. да, действительно любопытно..

. . .

За слепыми белыми стеклами больничных окон было прохладно и пусто. Серый линолеум пола, белые радиаторы отопления, масляная краска стен и липкие ленты от мух около электричес-

ких лампочек — все дышало той специфической больничной тоской, которой я научился бояться еще в детстве, и которую сейчас чувствовал особенно остро, как человек, пролежавший несколько дней в постели, и потому в чем-то подвластный этой, стерилизующей мысли и желания атмосфере.

Дежурная долго изучала записку и, скользнув по мне настороженным, словно дезинфицирующим взглядом, передала меня дежурной по этажу, маленькой остроносой женщине неопределенного возраста. Та позволила мне, в знак особой любезности, остаться в обычной обуви, и пока я подбирал халат, по собственному почину снабжала меня разнообразными сведениями, видимо, надеясь в обмен получить что-нибудь в пищу своему любопытству.

В двенадцатую палату, единственную одиночную палату больницы, попадали лишь привилегированные больные; как правило, она пустовала. Лёну перевели туда несколько дней назад по требованию майора Крестовского, и это могло означать либо заботу о ней, либо ее изоляцию. Скорее последнее, ибо я — первый, кому разрешено посещение. Осматривает Лёну сам главный врач, утром и вечером. Диагноз — вирусный грипп, температура под сорок, состояние тяжелое.

Палата номер двенадцать была в тупике унылого коридора, и я по пути собирался с силами, чтобы, войдя, изобразить на лице бодрость. Но ничего подобного от меня не потребовалось.

За дверь палаты двенадцать, едва я перешагнул порог, открылся совсем другой мир, как это бывает в театре, когда поднимается занавес. Стараясь понять, в чем дело, я огляделся — металлическая кровать, голые стены, столик ночной сиделки, все как обычно, лишь на окне, сверх обязательной марлевой занавески, висели цветастые шторы. И все-таки дверь с номером двенадцать вела не в больничную палату, а в женскую спальню.

До сих пор в моей памяти с этой комнатой связано ощущение красного цвета, темнокрасных глубоких тонов. А была там на самом деле лишь одна красная вещь — покрывающее Лёну клетчатое одеяло.

Ресницы ее были опущены, и черные волосы раскинулись по подушке. Она, как будто, спала, ее губы иногда вздрагивали —

— чуть приоткрытые, чувственные, вишнево-красные губы, рядом с красным одеялом они казались ярче его.

Это был гипноз, наваждение — я забыл, что она больная, и притом тяжело больная, и не видел узкой железной койки — передо мной была прекрасная женщина, задремавшая в своей спальне в ожидании любовника. И такова была сила этого чувственного наваждения, что я уже ревновал к ее воображаемому любовнику, и не мог оторвать взгляда от ее губ, хотя в них таилось что-то мучительное, что-то страшное, напоминающее пробуждение к дурной реальности от счастливого сна — я напрягал память, стараясь найти источник гнетущего ощущения.

Я вспомнил: "Это семейное, у бабушки были такие губы до самой смерти".

Реальность вернулась, я видел снова голые стены и уродливую кровать, окрашенную в белую краску, и было жаль исчезнувшего видения.

Я решил ее не тревожить и тихонько уйти, но она открыла глаза:

— Почему ты стоишь, как чужой? Подойди же ко мне! — голос ее был слабый, сонный, чуть хриловатый, но зовущий и ласковый. Наваждение возвратилось, я ей повиновался, как повинуются гипнотизеру. На миг прилив радости заслонил все — она ожидала именно меня, эти волосы, эти губы ждали меня с нетерпением, и на свете не было женщины желаннее, чем она.

Но в закоулках сознания, как на далеком экране, светилось предупреждение — не поддаваться гипнозу, не терять разума.

Я сел рядом с ней, наклонился и хотел поцеловать ее осторожно — но куда там — ее губы впелись в мои, и я чувствовал ее жар, не понимая уже, что это просто температура, и задышался, и тонул в ее поцелуе, готовый в нем раствориться полностью и желая, чтобы это никогда не кончалось.

Боль и соленый вкус на губах вернули мне крупцу ума. Я перевел дыхание и попробовал отстраниться, но она меня не отпустила.

Смущение и тревога захлестнули меня — и не из-за нелепой вспышки чувственности, можно сказать, под взглядом смерти — нет, я был поражен самой ее страстью, как подчиняющей силой, подобной парализующему полю электрических рыб. В дет-



стве я с испугом читал о вакханках, раздиравших мужчин на клочья руками, и не в злобе, а просто от страсти. Самым страшным казалось, что были мужчины, которые сами бросались в толпу испачканных кровью вакханок, чтобы быть разорванными — и вот сейчас я понял, как можно придти к этому.

У нее было мало сил, она откинулась, прикрыла глаза и стала шептать, быстро и сбивчиво:

— Я ждала тебя долго, долго... знала, он тебя не пускает, этот Крестовский... он мне мстит, ненавидит... теперь я с ним справлюсь... моей силы не знала, я его... его на куски разорвут...

С минуту она отдыхала, и я чувствовал приближение еще одной волны страсти, как нового порыва ветра после затишья.

Она высвободила из-под одеяла руку — это удалось ей с трудом — и на ее руку было страшно смотреть: тонкая, она, казалось, должна просвечивать, суставы побелели и выпирали наружу, и чудесный цвет кожи сменила восковая желтизна.

— Отчего ты так странно смотришь? Поцелуй меня!.. Она не войдет, не бойся...

Я тихо поцеловал ее в лоб, и гладил по голове, надеясь, что она успокоится, но ее возбуждение нарастало. Она с неожиданной силой потянула мою руку под одеяло и положила ее ладонью себе на грудь.

Мне удалось не вскрикнуть и не выдернуть руку. Ладонь моя ощутила лишь выступающие ребра и лихорадочное биение сердца, которое трепыхалось, будто прямо в руке. Еще месяц назад я видел ее на городском пляже, и когда она куда-нибудь шла — а купальники ее были предельно открытые, состоящие в основном из тесемочек — мужские головы, как ромашки за солнцем, поворачивались за ней, и многие из них, надо думать, томилась от желания потрогать ее упругую грудь, почти целиком выставленную для всеобщего обозрения. А сейчас под моими пальцами были только лезвия ребер.

Ее взгляд, нетерпеливый и ждущий, и полуоткрытые губы снова звали меня, но теперь от этого становилось жутко — отчетливо, как только что сказанные, я слышал ее слова: "Такие губы до самой смерти... и даже в день похорон" — казалось, сама смерть приглашает меня в объятия.

Она расстегнула пуговицу моей рубашки и, просунув под нее руку, гладила меня сухой горячей ладонью. Я же ежился от ее прикосновений, мне мерещилось, в этой руке уже нет жизни, и ласкает меня мертвец.

Я почувствовал вдруг к ней ненависть, первобытную дремучую ненависть, отзвук древнего страха живых перед мертвыми, и прекрасно зная биологическую природу этого чувства, тем не менее справился с ним не сразу.

Пора уходить, думал я, не решаясь убрать ее руку, но тут явилась дежурная и пропела с фальшиво-бодрыми нотками:

— Температурку измерим, укольчик сделаем!

Лена бросила на нее взгляд, который человеку впечатлительному испортил бы не одну ночь, в ее глазах, сверх сухого температурного блеска, возникло сияние, нервное и гипнотически-властное, не покидавшее ее до самого моего ухода.

Я поднялся, и Лена, цепко держа меня за руку, шептала что-то, из чего я мог разобрать только несколько слов:

— ...плохо придется, плохо... увижу сама... на куски разорвут... ты только не бойся... тебя я спасу, не бойся... — у нее, по-видимому, начинался бред.

Когда я поцеловал ее в лоб, она пыталась удержать мою руку и говорить еще, но сестра с градусником ловко меня оттеснила.

---

16

Крестовский встретил меня на крыльце отделения и провел в кабинет, не в служебный, в домашний. По его деловитой резкости было видно — у него ко мне разговор, и наверное, важный, и он почему-то спешит; и хотя я порядком был выбит из колеи визитом в больницу, все же не решился просить об отсрочке.

В кабинете он жестом пригласил меня к письменному столу и сел сам.

— У вас не болит голова?... Странно... — он достал из ящика пачку анальгина и сунул себе в рот таблетку, немного подумал, встал и принес из столовой начатую бутылку коньяка. Налив мне и себе, он, болезненно морщась, проглотил, наконец, таблетку и запил ее коньяком.

— Как вы нашли больную? — он вытащил из кармана кителя записную книжку, и теперь ее перелистывал, ища нужную страницу — оттого вопрос прозвучал безразлично, как бы из вежливости, но я усвоил уже, что он ничего зря не спрашивает.

— Ужасно, — признался я откровенно, — никак в себя не приду...

Он это понял по-своему и, оторвавшись от записной книжки, налил рюмки снова.

— Вам диагноз известен? Якобы вирусный грипп... только они сами не знают... Ага, вот оно... — он вырвал страничку из книжки и протянул мне; видимо, это профессиональная манера — подкреплять слова в разговоре записочками с какими-нибудь сведениями; значит, действительно, беседа серьезная.

Записка была довольно загадочная — нацарапанный знакомым мне проволочным почерком список из шести фамилий: Совин, стало быть, Одуванчик, сам Крестовский, моя фамилия, и еще три незнакомые — две мужские и одна женская. У каждой из них, исключая мою и Крестовского, стояли карандашные птички.

— Кто такая Юсупова?

Поглядев на меня с крайним недоумением, он спрятал книжку в карман.

— Вот-вот... люди науки... связался с женщиной и не удосужился даже фамилию узнать!

— Вы-то, конечно, спросили бы сперва документы! — я съезвил механически, по привычному ходу мыслей, и тотчас же пожалел об этом: слишком уж нервозно он выглядел, и от реплики моей отмахнулся невеселой усмешкой.

— Здесь шесть человек, все, кто были тогда на пустоши. Учитель в больнице, и от ран его вылечили — так он еще и заболел. Представьте, та же болезнь: вроде бы грипп, но не поддается лечению, не действуют ни инъекции, ничего. Правда, он сам выкарабкивается, пошел на поправку — то ли живучий, то ли просто везет человеку... Юсупову вы видели, у нее практически никаких шансов... Мой шофер, рядовой — слег через неделю. Я его — в окружной госпиталь, потом диагноз запрашивал — само собой, вирусный грипп, состояние тяжелое... И, наконец, сержант. Отпросился на пару дней, к родственникам, свадьба там, что ли, и вот его нет и нет — заболел тоже, в госпиталь

переправили. Диагноз – вирусный грипп... Остаются еще двое – вы да я... У меня вот второй день голова болит, у них тоже болела... Я отправил доклад по начальству, и еще – шифровку в Москву, есть у меня там знакомые в одном специальном отделе. Отреагировали – требуют в область, срочно, сегодня же. Выпросил час на разговор с вами...

Он замолчал, собираясь с мыслями для дальнейшего, по-видимому, сложного для него разговора, а я ощутил такое же неприятное сосущее чувство, как в начале беседы с Одуванчиком, той, самой первой, в подземном баре, но теперь я знал точно, что это за чувство – ощущение вторжения в жизнь чего-то беспокойного и нелепого. Он сидел, немного ссутулившись, и я стал над его головой смотреть в окно; над каштанами небо стало прозрачным, и голоса с улицы доносились уже по-вечернему – отдельные негромкие фразы, словно сами по себе, без людей, плывшие вдоль бульвара.

Это было невежливо с моей стороны, и я заставил себя вернуться мыслями в комнату. По углам сплетался пятнами сумрак, но Крестовский не зажигал света, и от этого стало как будто спокойнее.

Наконец, он был готов продолжать:

– Ваш учитель умом не блещет, к тому же псих – но нюх у него есть, кое-что он учуял. И ничего не понял... Кошки-де к власти тянутся, того и гляди, кошачью диктатуру установят... Псих... Взял верный след, и по нему – в обратную сторону. Я смотрел все его записи. А верный след, вот он: могут влиять на людей, действительно. Эти самые белые кошки, пушистые... А как пользуются? Лишь бы жить в учреждениях или дома, у кого им положено... ну об этом потом... Я сержанту, ночному дежурному, говорю: не пускать! Понимать не обязан, а пускать – не пускай, это приказ! И что же, прихожу утром, в приемной – кошка! Негодяй, как смел? Не могу знать, товарищ майор, сам трясется, смотрела она, смотрела, и словно бы мне кто приказал... Оставляю еще на ночь: пустишь – на губу сразу! Так точно, товарищ майор! А утром, само собой, сидит кошка, облизывается! Понимаете – ведь они могли бы форменный рай устроить... кошачий – так нет ничего такого! Едят где что, есть и бездомные, шелудивые, тощие, не лучше

обычных кошек живут. Есть и такие, конечно, что как сыр в масле... кому как повезет. Но тут главное что- куда-нибудь сунуть свой нос им важнее хорошей жизни! Какой вывод?

Последний вопрос прозвучал почти как выкрик, резко и коротко, и я на миг испытал былую неприязнь к майору.

Не дождавшись ответа, он заговорил снова:

- Вот еще один случай. У меня в отделении две кошки, разумеется, белые. Я кормить запретил, и слежу - отоцали они, запаршивели... Вижу раз, сержант что-то за спину прячет, подхожу - колбаса! Почему приказ нарушаете? Винават, товарищ майор, исправлюсь! Ну, говорю, ладно, если хочешь, бери домой и корми, сколько влезет! Он их взял, и там, натурально, дочь и жена вокруг пляшут... понимаете, в общем, какой им там санаторий устроили... И что же? Через два дня оттуда сбежали, обе сразу, и здесь опять голодают! Получается видите что - у каждой кошки вроде бы свое рабочее место, каждой киске - свой пост! И дисциплина - моим бы такую! И чего я с ними только не делал: одну из этих двоих, у другой на глазах, задушил медленно... И вторая, вы думаете, сбежала? И усами не повела, в двух шагах сидела и на меня таранилась... Через несколько дней у нее новая напарница появилась... А любопытны!.. В отделении любой разговор - кошки тут как тут. А если собрание или приказ перед строем, в общем, когда много людей собирается - тут их не выживешь, хоть удави. За каждым словом следят. Читать - не читают, оставляю приказ на столе - ноль внимания, а когда объявляешь его же - готовы на потолке висеть, я на хвост каблуком наступил, и то не ушла... Так на кой же черт им все это? Я проверить решил, понимают они хоть то, что подслушивают? Благодарность двоим объявляю - мужество при задержании и прочее... тут же кошки, я будто не замечаю, дал все выслушать... А через два часа опять выстроил, и опять тот же самый приказ... вот тогда-то слушок и пошел, что я сдвинулся... так опять те же кошки... Отставить, кошек убрать, говорю... через три минуты уже на заборе сидят, слушают... я одну моим стеклом - не ушла... Заманил сюда в отпуск знакомого, эксперт по биотокам... детекторы лжи, знаете?.. и всякое такое... делал записи... И уж если ко мне кошка липнет подслушивать, эти самые биотоки,

осциллограммы, конечно, целиком повторяют мои. Получается натуральная запись, будто магнитофон... И какой же вывод?

Он в этот раз задал вопрос тихо и вкрадчиво, и опять ответа не получил.

- А вывод простой и единственный: наши кошечки на кого-то работают! Кому-то хочется знать, как мы живем, и очень подробно!

Чепуха и бред... еще один сумасшедший... теперь шпиономания...

Мне стало неловко, и отмалчиваться уже было нельзя.

- Это все интересно... с кошками. И даже весьма интересно... Но, по-моему, вы уж слишком...

- А что, собственно, вас пугает? Чем магнитофон лучше кошки? Если уметь ее расшифровывать, эту самую кошечку?

Он от себя справа выдернул ящик стола и, одну за другой, выложил несколько пухлых нумерованных папок.

- Вы потом полистайте. Вот здесь "материалы" Совина, само собой, копии, а в остальных - документы. Все оформлено юридически, как показания... вроде вашего.

- Итак, - повторил он с нажимом, - наши кошечки на кого-то работают... На кого же?

Он упорно ждал моего ответа, и наступило безнадежное молчание. Я решил отшутиться:

- Не на уругвайскую ли разведку? Или на марсианскую?

- Вы почти угадали... но здесь не все просто... Вы, наверное, знаете, для подслушивания кошек используют, но пока примитивно до крайности. Вживляют под кожу миниатюрные передатчики - вот и все! А тут высший класс - записывающий аппарат - весь кошачий мозг! Я специалистов запрашивал - говорят, не бывает. Ни в Америке, ни в Японии, нигде. Не бывает, и еще долго не будет!

Он уставился на меня напряженно, и глаза его напоминали матовые серые линзы.

- Понимаете, - он понизил голос, - за нами следят, а кто - можно только гадать! Неизвестно кто и неизвестно откуда - но следят, и очень тщательно!

Я стал снова смотреть в окно над его головой, небо было уже черно-синим, и деревьев не было видно, словно дом

был окружен пустотой, и со всех сторон, и сверху, и снизу — только бесконечная пустота.

— Можете, конечно, считать меня сумасшедшим, если вам так удобнее. Но за этими кошачьими шашнями присматривать все равно нужно.

Он говорил еще что-то, я же старался придать своему лицу сколько-нибудь осмысленное выражение. К счастью, его подгоняло время, и он вылил в рюмки все, что было в бутылке:

— Пью за ваше здоровье!

Листок из записной книжки все еще лежал на виду, и тост мне показался зловещим.

Он выложил на стол два ключа и сложенный лист бумаги:

— Ключи и поручение вам следить за моей квартирой. Заверено у нотариуса.

Обойдя стол вокруг, он энергично пожал мне руку и вышел. Через секунду хлопнула наружная дверь и лягнула дверца машины.

Я озирался с недоумением — один в пустом доме. Странное наследство... Неуютно, и словно тут кто-то прячется... Я обошел все комнаты — две внизу и две на втором этаже, зажигая свет всюду, включая все лампы подряд, и светильники под потолком, и бра, и настольные лампы, и все они загорались исправно. В этой яркой иллюминации везде открывались идеальная чистота и порядок. Повинуясь все тому же бессознательному импульсу, включать все без разбора, я нажал клавиш радиоприемника, оттуда сквозь свист донесся мужской глуховатый голос, произносящий слова на незнакомом шепелявом языке, с той механической интонацией, с какой читают лишь длинный перечень чисел, потом этот голос стал тише и на него наложился пронзительный писк морзянки; я нажал клавиш снова, и все умолкло.

Я вернулся к столу, где лежало сомнительное мое наследство — папки и связка ключей — и взял машинально сигарету из пачки, полной, но уже распечатанной, безликой любезностью приготовленной для меня заранее. Я попал на корабль, исправный, в открытом море, покинутый внезапно командой... Мария Целеста... вот так завещание... мне вручили штурвал и судовые журналы, и я чувствовал нечто вроде ответствен-

ности, и от этого внутри неприятно и беспокойно посасывало. Корабль, населенный призраками... нет, просто пустой...

Я поднялся наверх, на балкон, откуда короткая лесенка вела на пологую, почти плоскую крышу. Узкие крутые ступеньки — капитанский мостик...

Под навесом в маленькой рубке я тронул очередную кнопку, и настольная лампа тускло, еле заметно, осветила листы чистой бумаги и заточенный карандаш; рядом бледно мерцал и лоснился кольцами латунный ствол телескопа.

Вот он, зловещий символ — символ власти и пугало для всего города, старый маленький телескоп, очевидно учебный, он направлен был низко, почти горизонтально. Странная, странная эстафета...

Слабенькая и закрытая к тому же бумагой лампа кое-как освещала лишь середину трубы и маленькие штурвалы, начало ее и конец терялись в темноте, и мне пришлось искать окуляр неощупь.

Против ожидания, поле не было темным, оно излучало едва уловимый свет, то ли зеленоватый, то ли слегка лиловатый. Покрутивши ручки настройки, я добился прояснения рисунка — круглое поле заполнилось игрой все того же неопределенного света, орнаментом танцующих линий, скользящих, как волны, наискось, сверху в левую сторону.

Ну, конечно, конец июля... теплая ночь, и светится мореход глядел в телескоп на приборную полосу.

Медный штурвал справа вращался легко и бесшумно, он приятно охлаждал пальцы, и я вертел его просто так, без цели — узор из пляшущих волн плавно скользил вбок. Перекрестие волосков угломера, черных прямых линий, словно обшаривало разводы беззаботно играющих волн, и я впервые подумал, что крест из черных, идеально прямых тонких линий — очень злой рисунок. Мне стало казаться, что там, далеко, куда попадает этот, беспощадный и точный, прицел врезанных в стекло волосков, там разрушается что-то, и в мир, о существовании которого я даже не подозреваю, вторгается чуждое и страшное для него влияние, и я подобен ребенку, играющему кнопками адской машины.

Чувство это усиливалось, и — самое непонятное, дикое — в полном сознании творимого зла, я не мог себя побороть и,



завороженный плавным движением любопытного круглого глаза моего телескопа, его волшебным полетом в зеленоватом мерцающем мире, все вертел и вертел бесшумный медный штурвал.

В свечение круга, слева, стало вливаться пятно, черное и непроницаемое; занимая все больше места, оно подползало ближе и ближе к центру, не избегая перекрестия волосков, но даже будто стремясь к нему. Из непонятной угрюмой кляксы пятно обратилось внезапно в изящно обрисованный, хотя и тяжелый, силуэт. Я несколько не удивился — как во сне, это само собой разумелось — над перекрестием плавал, чуть вздрагивая, силуэт кошачьего сфинкса. Отсюда казалось — он обладает невероятной, пугающей тяжестью. Постамент не было видно, он растворился в фосфорической жидкой среде, и сфинкс висел в пространстве, словно самостоятельная планета.

Не в силах остановиться в новом для меня и неприятном азарте, будто движимый жаждой приобретения, я ухватился левой рукой за другой штурвал, и вращал их оба теперь наугад.

Сфинкс безразлично и медленно уплыл вниз и направо, и весь круг заполнился глубокой прозрачной чернотой, стершей даже жесткие волоски креста — я пустился в плавание по ночному небу.

Тогда я совсем забыл, что представляет собой телескоп, от него осталось лишь круглое окно в бесконечность, казалось, оно вмещает меня целиком и по-настоящему уносит с земли, в глубину ночи, освобождает от здешней моей оболочки.

Перед моим иллюминатором проплывали тихие светляки звезд, и я чувствовал облегчение от того, что все они так далеки, и светятся там только для своей вселенной, и мой любопытный взгляд для них ничего не значит.

У верха прозрачного круга в черноту неба вплелись нити голубого мерцания, они становились все ярче, и я стал скорее крутить штурвалы, стремясь к их источнику.

На краю показался, и теперь пересекал поле зрения яркий голубой шарик. Я хорошо понимал, что это всего лишь точка, что видеть шарик — чистая моя выдумка, и все-таки достоверно видел его шарообразную форму. В его свете снова

стали видны прямые нити, прочерченные на стекле телескопа. Шарик пересекал экран наискось, по дуге, обходя точку скрещения волосков, и прежний нездоровый азарт подбивал меня поймать его перекрестием. Вращая штурвалы в разные стороны, я заставил его подойти к центру, но он плясал вокруг этой точки, оказываясь правее, ниже, где угодно, но только не в ней. Действуя более осторожно штурвалами, я добился, наконец, своего — пойманный шарик висел неподвижно точно на перекрестии, разрезанный волосками на четыре равные части. Тотчас я ощутил укол, несильный, но болезненный, и невольно отпрянул от телескопа, стал тереть глаз. Что это? Предупреждение?.. Просто случайность?..

Тут же я почувствовал чей-то пристальный взгляд, направленный мне в затылок. Я резко оглянулся и, конечно, ничего не увидел. А чужой взгляд ощущал настойчиво, почти как физическое давление. Может быть, с улицы?.. Глаз все еще показывало, я погасил настольную лампу и стал вглядываться вниз, в черноту теней под каштанами.

Человек на пустой крыше, во тьме, да еще зажмуривши один глаз, пытается что-то высматривать... Если кто-то за мной наблюдает, до чего же ему смешно...

— Кому ты нужен, — сказал я себе шепотом, — на тебя глядят только звезды.

Да, глядят только звезды... заезженная, потерявшая смысл фраза... а вот майору кажется, что и вправду глядят... неужели безумие заразно?..

Я снова склонился к трубе — голубой шарик выглядел более тусклым и плавал в стороне от угломерных линий. Что это была за звезда? Я глянул поверх телескопа, она выделялась голубизной и яркостью, но ни в одно из знакомых созвездий не попадала.

Запрокинув голову, я смотрел вверх. Мне казалось, я вижу впервые звездное небо, впервые вижу так много звезд — нет, это не свод, не купол со светлячками, это пространство, и я видел отчетливо: одни звезды ближе, другие дальше, они сплошь заполняют бесконечный объем, движутся в разные стороны, и за каждым созвездием видны все новые рои светящихся точек. И я — не наблюдатель со стороны, я в самой гуще этой толчеи света. Такая чудесная картина — а

в ней мерещится слезка... и я ведь тоже причастен... повторяю себе "это нервы", а на дне сознания копошится "а вдруг"... мы, наверное, все нездоровы...

Голова у меня кружилась, и стало ломить шею. Мне пришло в ум, что смотрю я неправильно, что смотреть стоя вверх — ничего не увидишь, и если хочешь влиться в звездное небо, нужно лечь на спину. Не размышляя, я сделал это, ощутив с удовольствием давление выступов черепицы, и прохладу ее, и глухое побрякивание.

Да, безумие заразно... поговорить бы с нормальным человеком... только кто он и где, этот нормальный человек... Наталия, вот она нормальная... "В детстве я верила, на звездах живут ангелы"... ха, да ведь это почти то же самое... просто детский вариант... сидит на звезде ангел, грозит пальцем, а под крылом — розги... за недозволенные мысли... а у нее ведь и взрослая закорючка осталась: "я боюсь, когда так говорят... пройдут по небу лиловые трещины, зигзагами, как по ветхой ткани"... у каждого есть закоулок, где гнездится это "а вдруг"... вдруг и сейчас мои мысли где-то фиксируются... и однажды чудовищный следователь с мерцающими глазами-блюдцами, с тысячью звездных глаз на студенистом теле, предъявит мне эту запись?..

— Не будь идиотом, — я хотел сказать это вслух, обычным голосом, но получилось опять шепотом, — там ничего нет!

Звезды стали еще ближе, они начинались над самой крышей и уходили вдаль, в бесконечность. Кто придумал, что там пустота?.. Какое нелепое слово... Они опускались сюда, к верхушкам деревьев, и мне стало казаться, что я падаю неудержимо в это бездонное скопление светил. Я инстинктивно схватился руками за черепицу.

Как, однако, шалют нервы... в этом доме дурное поле, еще не открытое физикой... подслушивающее, подглядывающее, угнетающее... жилище колдуна или алхимика... ничего себе, майор милиции... чернокнижие, средневековье какое-то...

Голова кружилась по-прежнему и звезды двигались все быстрее. Я осторожно встал, испытывая все еще страх, что меня оторвет от земли и засосет наполненное светом пространство.

В доме внизу меня, наконец, оставило ощущение постороннего взгляда, и все показалось уже привычным и даже, на свой лад, уютным. Перед тем, как уйти, я прошелся по комнатам, погасил все лампы и запер на задвижку окно.

На следующий день вся наша жизнь была изменена одним-единственным словом, проникшим в границы города на рассвете, и к полудню произнесенным уже не раз каждым жителем. Коряво написанное на тетрадном листке, в половине шестого утра оно закрывало окошко автобусной станции, затем опустошило рынок, вымело начисто от людей пляжи, и когда я вышел из дома, власть этого звучного слова — карантин — была повсюду непререкаемой.

Все четыре дороги, ведущие к нам извне, были перегорожены парами стоящих нос к носу тупорылых военных машин, словно игравших в "гляделки" бессмысленными мощными фарами, и разъезжавшихся только изредка, чтобы пропускать такие же желто-коричневые грузовики — отныне единственную нашу связь с внешним миром.

В тени гигантских радиаторов бездельничали солдаты. То ли случайно, то ли по специальному замыслу начальства, на каждом посту находилось ровно столько человек, чтобы составить партию в домино — по два шофера и по два автоматчика, и они, будто жрецы, служа культу неизвестного божества, не прекращали игру ни на минуту. Когда я приходил смотреть на этот непрерывно справляемый обряд, они на меня не обращали внимания, и мне иногда казалось, что вся история с карантинном подстроена могущественным и злым духом по имени "домино", возжелавшим окружить и захватить город, чтобы все жители, разбившись на четверки, славили стуком костей самозванное божество.

В порту тоже появились солдаты, и черные кости их домино глухо стучали по горячим от солнца шершавым доскам деревянного пирса. Это занятие, целиком поглощая одновременно четырех солдат, оставляло свободным пятого, лишнего, и он, дожидаясь очереди, стоя наблюдал за игрой, с автоматом на животе, либо прохаживался по песчаному пляжу вдоль рядов разошедшихся лодок, малопригодных с виду для бегства от власти слова "карантин".

Подобно старшему жрецу, следящему за порядком в храме, дважды в день приезжал проверять, насколько исправно солдаты играют в домино, лейтенант, их начальник — его желто-коричневый газик, снующий теперь по городу, как бы возместил исчезновение такого же газика Крестовского. Вскоре, однако, выяснилось, что лейтенант был лишь младшим служителем культа карантина и домино, и мы увидели настоящего жреца.

Перед въездом его коричневые грузовики на южном шоссе раздвинулись в стороны заранее, и черная волга, не сбавляя хода, пролетела между их пыльными тусклыми фарами, проплыла по улицам города и проследовала к пограничной заставе, находящейся на окраине.

Он почти не появлялся на улицах, иногда разъезжал по окрестностям и несколько раз посетил кошачью пустошь. Я видел его раза два в ресторане — сухой, неопределенного возраста, но скорее всего, за пятьдесят, с пергаментным лицом, с потухшими серыми глазами и редкими, расчесанными на пробор, седыми волосами, он носил серебряное пенсне и полковничий мундир с узкими серебряными погонами. Его личная свита состояла из двух штатских, а гвардия — из нескольких солдат и сержанта, ездивших в защитного цвета фургоне с ребристым металлическим кузовом и, по указаниям штатских, бравших пробы грунта, воды, а впоследствии и ловивших кошек. От простых смертных его отгораживала вежливая сухая улыбка, которая и служила единственным ответом на все попытки местных начальников вступать с ним в беседу.

На территории заставы была ~~устроена~~ устроена бактериологическая лаборатория, и несмотря на полную изоляцию и строгое соблюдение секретности, сквозь стены ее, неизвестно как, вскоре проникли в город и стали в нем властвовать, отеснив слово "карантин", новые, таинственные и страшные слова: культура шестьсот шестнадцать дробь два. Словами этими были пересыпаны все разговоры, и они сами собой упростились до сокращенного "культура-дробь-два" и даже до совсем уж свойски-фамильярного "дробь-два". Речь шла о необычайно опасном и зловредном вирусе, выведенном уже однажды в лабораториях, но в живой природе до сих пор не встречавшемся.

В общественной жизни города наступил полный паралич. На службу ходили, но можно было бы и не ходить, ибо никто ни с кого и никакой работы не спрашивал. Улицы опустели, рынок тоже, но в ресторане и винном баре обороты увеличились. Некоторая часть населения ударилась в отчаянную панику — боялись здороваться за руку, соблюдали при разговоре кем-то придуманную безопасную дистанцию в полтора метра, и даже в знойные дни на улице можно было встретить людей в кожаных черных перчатках. Большинство же ограничилось тем, что перестало ходить на пляж, где купаться все равно запрещалось, и вечерами сидело дома, как бы исполняя этим свой гражданский долг, и на многих лицах появилось выражение значительности и даже торжественности. Молодежь увидела в карантине просто повод к загулу: по ночам, почти до утра, в занавешенных виноградом двориках шло пьянство, по улицам разгуливали в обнимку компании по несколько человек и пели песни, а днем где угодно, на тротуарах, около уличных ларьков и даже на ступеньках учреждений, попадались целующиеся парочки.

Всем было приказано предъявить своих кошек для исследования — это оглашалось по радио, в местных газетах и в специальных афишках на столбах и заборах.

Первые дни у дверей приемного пункта толпилась небольшая очередь; кошек, в основном, приносили женщины, как более дисциплинированная часть населения.

Доставленная кошка помещалась в специальный ящик с дырками для дыхания, одновременно в регистрационную книгу вносились имя и адрес владельца, кличка и пол животного, после чего номер записи с помощью бирки присваивался ящику.

Считалось, что при благоприятных анализах кошку вернут хозяину, однако, я не слышал о таких случаях — кошки просто исчезали бесследно. Да никто и не пытался наводить справки: вскоре после объявления карантина и распространения слухов о связи вируса с кошками, ненависть к кошачьей породе достигла значительного накала.

За первую неделю после публикации таким вот, официальным путем, было изъято у населения несколько сотен кошек, а затем поступление их прекратилось, хотя в городе поголовье кошек было, по крайней мере, несколько тысяч.

Большая часть населения решила проблему иначе, безуспешно, не договариваясь, но с поразительным единодушием. В первое же утро на улицах города было обнаружено более двухсот убитых кошек, и эта цифра почти не снижалась в течение пятнадцати-двадцати дней. Характер действий был везде одинаков. Трупы животных оказывались всегда посередине улицы, никогда на обочине, в близости к фонарям, причем исключительно на асфальтовых улицах. Орудие убийства, полено или кирпич, редко забрасывалось в канаву, а в большинстве случаев, как вещь потенциально заразная, прилагалась к трупу. Иногда акция совершалась непосредственно в таре, в которой была доставлена кошка, в мешке или корзине.

Система охраны порядка оказалась здесь достаточно гибкой и нашла возможным вступить в неофициальное соглашение с населением. В силу этого, неписанного, но непререкаемого договора, объезд и собирание трупов кошек производился раз в сутки, около шести утра, и опять же, только по асфальтовым улицам. За все время карантина соглашение это соблюдалось неукоснительно, то есть ни одной кошки в неположенном месте или в неправильное время обнаружено не было.

Я несколько раз наблюдал процедуру убирания мертвой кошки — она повторялась в неизменном виде, с тщательным соблюдением мелочей, словно разработанный до тонкостей важный обряд, и в ее методичности было нечто мерзостно-завораживающее.

На рассвете, каждое утро, военная грузовая машина коричнево-зеленого цвета продвигалась по улицам с малой скоростью, громко рыча и собирая необычный свой урожай. У очередного объекта она тормозила, на высокую подножку вылезал из кабины сержант с папиросой в зубах и, держась левой рукой за дверцу, осматривал сверху труп кошки, затем по его указаниям шофер разворачивался и подъезжал к кошке задним ходом, сержант же в течение всей операции оставался на подножке. Любопытно, что проще всего было бы проехать над кошкой, но они никогда этого не делали, то ли из суеверия, то ли в силу инструкции. Далее два солдата сгружали из кузова на асфальт контейнер с раствором извести, и большими щипцами, наподобие каминных, погружали в раствор труп живот-



ного; щипцы основательно окунались в раствор для дезинфекции и укладывались в машину, вслед за этим контейнер грузили на место. После этого, уже сверху, из сосуда, напоминающего большой огнетушитель, асфальт поливали белой пахучей жидкостью, сержант перебирался в кабину, грузовик разворачивался и, натужно урча мотором, направлялся дальше.

Белая жидкость, будучи, видимо, каким-то абсолютным средством, отличалась невероятной едкостью: по высыхании ее на асфальте оставалось серебристое пятно, сохранявшее причудливую форму первоначальной кляксы, сиявшее на солнце радужными разводами, как на воде нефтяная пленка, и не смываемое уже ни дождями, ни поливальными машинами.

Разляпистые серебристые пятна, как своеобразные плоские памятники, испещрили скоро все основные улицы города и кое-где сливались в сплошные, сложной формы, серебристые площадки, наводящие на мысли о братских могилах; я стал в своих маршрутах избегать асфальтовых улиц.

\* \* \*

Амалия Фердинандовна, обнаружив афишку на столбе у ворот, одна из первых отнесла свою Кати по указанному адресу. При сборах не обошлось без слез, потому что кошка, зачуяв неладное, долго не давалась ей в руки, а потом не хотела садиться в корзинку и орала так, будто рядом стоял уже контейнер с известкой.

Я посоветовал ей устроить для Кати карантин на дому в чулане, но она отклонила мою идею с завидной твердостью:

— Я все утро об этом думала, но я не могу так поступить. Кати ничем не больна, и она через три дня будет опять дома. Я уверена в этом!

Но, конечно, через три дня о судьбе Кати ей сказать ничего не могли, кроме регистрационного номера кошки. Вооруженная этим трехзначным числом, она отправилась на заставу, начальник которой, на ее счастье, был одним из собутыльников ее мужа. Она пробилась к полковнику, и того подкупила ее непоколебимая вера в существование порядка внутри возглавляемой им системы. Тяжелые колеса вирусно-карантинного механизма пришли в движение, и к вечеру Кати, лишившись воз-

возможности пожертвовать жизнью ради науки, в невероятных количествах уплетала любимую ею вареную рыбу.

Имея справку о благонадежности своей кошки, Амалия Фердинандовна все же старалась держать ее дома. Но Кати время от времени удавалось улизнуть в сад, и в одно прекрасное утро ее труп был обнаружен перед калиткой рядом с куском кирпича.

Амалия Фердинандовна похоронила Кати в том же тенистом закоулке сада, где покоилась Китти, и на время была полностью деморализована. Она похудела и осунулась, но от этого выглядела моложе, и выражение лица стало еще более детским. Она забывала готовить себе пищу, и я иногда просил ее напоить меня чаем, чтобы за компанию со мной она что-нибудь ела. Заходя к ней, я почти всякий раз заставлял ее в углу перед иконами, словно она хотела от потемневших ликов получить ответы на мучившие ее вопросы.

— Это грешно, так думать, — сказала она однажды, — но мне кажется, в нашем городе много злых людей. Вы видели, как страшно они убивают кошек? Я смотрю на прохожих и вижу недобрые лица, и у них, наверное, недобрые мысли! Это совсем неправильно, так не должно быть — ведь если нам посылаются неприятности, то для того, чтобы мы что-то поняли и стали добрее, чтобы все стало лучше! А получается наоборот, и я не могу понять, зачем это.

— Как, — поразился я, — неужели в том, что творится, вы хртите видеть какой-нибудь смысл?

— Конечно, — она удивилась в свою очередь моему недоумению, — Бог ничего не делает зря! — словно вспомнив о важном деле, она подошла к иконам и зажгла свечку. — Только я ничего не могу понять и мне трудно. Но я буду за них молиться, чтобы они не были злыми!

После этого разговора я стал внимательнее присматриваться к лицам незнакомых людей и научился улавливать в них некую специфическую карантинную угрюмость. И пожалуй, ее мысль — помолиться, чтобы они стали добрее — была не так уж плоха.

Однако, ее молитвы вряд ли доходили по назначению, потому что эта недоверчивая угрюмость все глубже въедалась в лица. Да она и сама понимала, что от ее молитв мало проку,

и пыталась придумать что-нибудь более действенное. Вместе с другими дамами она организовала в местной столовой бесплатное питание для людей, из-за карантина лишившихся заработка. Но власти нашли в этом начинании буржуазную идеологию и наложили на него вето, а взамен, по соседству с кошачьим приемником, открыли бюро по трудоустройству лиц, оказавшихся временно без работы. За две недели бюро не привлекло ни одного посетителя и само собою закрылось.

Тогда она поместила в газете объявление о бесплатных уроках музыки. Мне этот ход показался чересчур смелым — что она станет делать, если желающие музицировать повалят толпой? Но публике сейчас было не до музыки, и лишь трое мамаш привели к ней детей, причем двое из них после первого же урока бесследно исчезли.

Все же одна ученица у нее осталась — тощенькая белобрысая девочка в школьной коричневой форме, она приходила почти каждый день и исправно играла гаммы. Заметно с этих пор оживившись, Амалия Фердинандовна и сама начала играть, и от того, что из соседнего дома снова разносились звуки рояля, наша улица стала казаться немного веселее.

В один и тот же день с распространением по городу зловещего имени вируса была выпущена на свободу и первая его жертва — из больницы выписали Одуванчика. И следующие два дня были днями его полного и безоблачного триумфа. Два дня он раскатывал на черной волге, и все могли видеть за приспущенным стеклом его похудевшее озабоченное лицо. Его даже возили в главное святилище карантина — в лабораторию на заставе, и он запросто беседовал с серебрянопогонным полковником, с человеком, который с заминкой и вяло протянул руку первому секретарю райкома, ограничился кивком для второго, а от редактора отделался своей короткой бесцветной улыбкой. И Одуванчика не просто возили — нет, именно с его появлением было связано оживление деятельности черной волги и носившейся всюду за ней, гремевшей железным кузовом машины-лаборатории. ~~Это он показывал полковнику~~ Это он показывал полков-

нику одному ему, Одуванчику, ведомые места на побережье, и советуясь с ним, Одуванчиком, штатские втыкали в землю кольца с оранжевыми флажками, под которыми после брались пробы грунта. И наконец, по его, Одуванчика, указаниям солдаты из ребристого гремучего кузова, вооружаясь специальными сетками и топчя сапогами пыть захолустных дворов, ловили своих первых кошек.

Да, Одуванчик внезапно стал в городе важной персоной, и поговорить с ним почиталось за честь, он же отвечал на вопросы уклончиво и многозначительно. Он имел теперь постоянно занятой вид, наряжался в сапоги и галифе, на суконном пиджаке висели две старые военные медали, и левая рука покоилась на черной перевязи.

В последующие три дня, хотя Одуванчик сидел уже дома, к нему несколько раз заезжали, и престиж его продолжал расти.

Но все на свете кончается, и потребность карантинного бога в советах Одуванчика исчерпалась. Сотни металлических баночек наполнились пробами грунта, в клетки насажали нужное количество кошек, мышей и сусликов, и жрецы карантина удалились на заставу в свои кельи. Их больше никто не видел, и то, что они продолжают существовать и функционировать, подтверждалось лишь одним, косвенным и слабым, свидетельством: раз в сутки, в двенадцать дня, пустая черная волга останавливалась у магазина, шофер покупал две бутылки армянского коньяка и тотчас уезжал назад на заставу.

Одуванчик же оказался не у дел, интерес к нему городской общественности начал спадать. И тогда он предпринял нелепейшую рекламную акцию, укрепившую меня в мысли, что он ненормальный, и принесшую ему, тем не менее, по фантастическому стечению обстоятельств, новую славу.

В те дни, опасаясь, что используя свои ученые степени, я оттесню его с главной роли консультанта при блюстителях карантина, Одуванчик старательно меня избегал; и хотя я довольно много слонялся по улицам, он ухитрился за целую неделю встретить меня всего два раза. Он при этом страшно спешил и, удирая, скороговоркой бормотал на ходу, что нам нужно с ним побеседовать в ближайшее время, как только он станет чуть посвободнее. Поэтому я был весьма удивлен, когда однажды утром, увидев меня на улице, он не свернул, как

обычно, в сторону, а подошел поздороваться и долго тряс мою руку:

— Слава богу, хоть вас встретил... всё дела... мы тут решили... кое-какие меры... если хотите, на пустоши... через час...

Ничего более внятного он не сообщил, но я все же отправился на кошачью пустошь. К началу церемонии я опоздал и тихонько присоединился к небольшой стайке зрителей.

Представление развернулось у подножия сфинкса, на том самом месте, где месяц назад мы при свете фар грузили в машину изодранного кошками Одуванчика. Сейчас он стоял, подбоченясь, при медалях и в галифе, и в позе его уже появилась некая начальственная небрежность. Перед ним стояли шеренгой около тридцати юношей, школьники старших классов; сквозь привычное для учащихся выражение официально-показной серьезности на их лицах проглядывало недоумение. Одуванчик лишь наблюдал, а руководил построением молодой учитель физкультуры в тренировочном костюме; отдавая Одуванчику рапорт, он замешкался, не зная, как его в данном случае следует именовать, и выбрал неопределенное "товарищ начальник", что однако того вполне удовлетворило.

Одуванчик что-то пробормотал, и учитель, повернувшись на каблуках, не то пропел, не то прокричал:

— Пе-ервая па-ара... на пост... марш!

От шеренги отделились двое крайних и в ногу промаршировали к сфинксу.

— Кру-у-гом! — пропел учитель.

Они повернулись и щелкнули каблуками.

— Сми-и-рно!

По обе стороны передних лап сфинкса стояли теперь навтыжку человеческие фигурки, и внезапно он приобрел неопишемую монументальность: несмотря на оббитую голову, в изваянии появилось нечто величественное, восточно-монархическое.

Я думал, дурацкая церемония на этом и кончится, но оказалось — нет. Одуванчику подали сверток, и он оттуда извлек старый заржавленный автомат, из тех, что хранятся в школьных музеях как партизанские реликвии с просверленной для безопасности казенной частью ствола.

Одуванчик шагнул вперед и надел ремешок автомата одному из часовых на голову, тот при этом неловко вытянул шею и осторожно ею вращал, пока ремешок не занял приемлемое положение. Последовала немая сцена, и за ней — команда разойтись.

Что означало все это — почетный ли караул, фактическую охрану или символический арест сфинкса — никто ясно не представлял, да и Одуванчик, наверное, тоже; как бы там ни было, в течение следующих двух дней, от восхода и до заката, каждые четыре часа, происходила исправная смена караульных.

Забаве этой положили конец исследования жрецов карантинна. Непостижимыми человеческому уму путями, сквозь стены лаборатории, через колючую проволоку ограды заставы, в город просачивались кое-какие сведения; таинственная культура шестьсот шестнадцать дробь два обростала подробностями. Самая неприятная из них состояла в том, что никаких реальных средств борьбы с этим вирусом не было, а потому никакое лечение невозможно; в случае эпидемии предсказывалась смертность более пятидесяти процентов, то есть выходило, эта болезнь хуже чумы. Погибал вирус при температуре выше ста градусов, и кипятить его бесполезно, храниться же, например, в земле, он способен сколько угодно, так что его можно хоть на другие звезды в ракете посылать, и с ним ничего не случится. Для животных он безопасен, хотя среди них распространяется легко, и возможно его использование в качестве биологического оружия. Казалось бы, в городе должна бушевать ужасная эпидемия, и никто не мог объяснить, почему ее нет.

Так вот, оказалось, что в земле на кошачьей пустоши полно этого злополучного "дробь-два", и еще раньше, чем лейтенант велел Одуванчику с его добровольцами оттуда убраться, все школьники сидели уже по домам, и мамы их не отпускали от себя ни на шаг.

Сфинкс пребывал снова в полном одиночестве, и покой его не нарушали никакие звуки, кроме шелеста чихлых трав, да плеска и шуршания волн на мокром песке.

И ровно через день на сфинкса было совершено покушение, оставшееся для общества неразгаданным — предположение, что это дело рук Одуванчика, отпадало сразу, ибо преступник об-

ладал невероятной физической силой и действовал с маниакальной, словно мстительной, злобностью. Орудовал он, скорее всего, тяжелой кувалдой: лапы, хвост, голова и правое плечо были отбиты полностью, в разных местах туловища зияли выбоины. Собственно, сфинкс существовать перестал — от него сохранился бесформенный и безобразный обломок темного камня. Часть плит постамента была выворочена и разбита.

На публику это событие почему-то подействовало удручающе — в нем видели дурное предзнаменование. Одуванчик имел скорбный вид и на все расспросы в ответ говорил одно и то же: нет, он не злорадствует, но это было преступно, оставить извятие без охраны.

После этого лейтенант приставил на всякий случай к останкам сфинкса персонального ~~мешинши~~ часового; зная, что земля вокруг постамента заразная, он, маясь бездельем, уныло ходил взад-вперед по пыльной дороге. Авторитет Одуванчика в городе с этих пор окончательно упрочился.

Следующая неделя принесла мне неожиданную встречу. Я вышел утром из дома, и на улице меня ждал человек. Какую-то долю секунды я не мог вспомнить, откуда я его знаю; на меня нахлынуло сразу ощущение неприятного и дурного, и узнавать его не хотелось. Он был выше меня, с мощным торсом и массивной головой, посаженной прямо на плечи — против воли я опознал его: это был главный из трех, из тех трех парней, что пытались на пустоши закидать меня камнями. Сейчас он имел ошалелый, неуверенный вид, и взгляд его был воспаленным. Он протянул мне свою огромную пятерню с явным намерением обменяться рукопожатием.

После того происшествия Крестовский не стал доводить дело до судебных инстанций, разумеется, с моего согласия. Приятель его, пострадавший сильнее меня — у него была трещина в черепе и сотрясение мозга — тоже отказался от претензий. К тому же за этого, глыбообразного, просили соседи: у него была старая, выжившая из ума, мать, за которой он как-то присматривал, и вообще, человеком плохим он не считался. Так что зла я к нему не имел, но и приятности, естественно, не испытывал, и подать руку замешкался.

— Вы... это... не обижайтесь... — на лицо его медленно выползла неосмысленная улыбка, поразившая меня еще при первом, если так можно выразиться, знакомстве, — потому что место... место плохое... я в больницу иду...

Овладев собой, я протянул ему руку. Ладонь его оказалась горячей, он действительно был болен.

— Давно это с вами?

— Четыре дня... все от той статуи... мне сознаться надо... это ведь я статую поуродовал...

И так же, как в момент встречи не хотелось его узнавать, сейчас не хотелось понимать смысл его слов, и все-таки их достоверность была непреложной. Достаточно было взглянуть на его руки, на них словно было написано: да, это сделал он, и никто другой не мог этого сделать.

— А зачем?

— Ни за чем... так... место плохое... я ее ломом...

Он неловко переминался и смотрел на меня просительно, будто ожидая помощи или какого-то обещания, я же не мог понять, чего он от меня хочет.

— Так вы... скажите, кому надо... я подумал, надо сознаться... а то не вылечат... — он, прощаясь, протянул руку, и я подал свою уже без заминки, — и вы тоже... не обижайтесь...

Впоследствии я узнал, что его наивный замысел оправдался. Жертв вируса дробь-два было немного — человек шестнадцать или семнадцать, но из своих когтей он выпустил только двоих: Одуванчика и этого парня.

---

## 19

Приближался конец августа, мой отпуск окончился, и я не без удовольствия написал на работу о карантине и о том, что быть может, это надолго — пусть их, придумывают, как узаконить мое житье здесь.

Из Москвы пришли письма, от Юлия и от Наталии. Каждое из них, отдельно взятое, было естественным, но вместе они меня поразили. Я даже сличил штампы — оба писали почти в один день, но непохоже было, чтобы они виделись: Наталия уже зна-



ла о карантине, Юлий же о нем не слышал.

Юлий писал довольно пространно, о всякой всячине, и о фильме, причем о фильме — с иронией недоброй. Интересней всего были последние фразы:

"Вы можете посмеяться, и я не буду в обиде, но сейчас я жалею о том, что тогда уехал. Я помню, как было душно, и как тяжело дышалось, и каким все казалось замшелым, но вот загадка: меня тянет в это нечищенное, забытое богом и временем, кошачье захолустье. Тот месяц вспоминается, как счастливый. Было так хорошо работать, а здесь я не могу преодолеть отвращения к пишущей машинке. Так что, может быть, скоро увидимся".

В письме Наталии, чуть не дословно, повторялась та же мысль:

"Милый, это ужасно, но я скучаю все больше, и по тебе, и по нашему с тобой тихому кошачьему городу. От него у меня до сих пор ощущение тяжести и загадки — будто мне предлагалось понять что-то важное, а я не смогла и сбежала. Кажется, я готова все бросить и ехать к тебе, пробиваться через этот злополучный карантин."

Странно было читать эти письма из далекого несуществующего мира. Я пытался представить, как ходила бы здесь Наталия, по пустынным и пыльным, не тревожимым ни людьми, ни колесами, улицам, как она проходила бы мимо закрытых, затаившихся окон домов, как оглядывали бы ее редкие прохожие с тайным вопросом, не несет ли она уже в себе смерть — и у меня ничего не получалось. Она мне вспоминалась воплощением легкости, и нельзя ее было вообразить в скорлупе из отчужденности, настороженности и суеверного страха, которую в день объявления карантина, как обязательную форму одежды, одели все в городе, и я в том числе.

Потеряв постепенно счет дням и неделям, я иногда вычислял, а иногда у кого-нибудь спрашивал, какое сегодня число.

Положение в городе стабилизировалось, но напряженно и непонятно, словно враждующие скрытые силы, управляющие течением жизни, заключили временное мирное соглашение. Новых заболеваний не было. В больнице у всех жителей, по кварталам и улицам, брали кровь на анализ — вируса ни у кого не

было. Его не было ни в крови домашних животных, ни у мышей и сусликов, ни в пробах воды и грунта. Вирус шестьсот шестнадцать дробь два отступился от города.

Но каждый помнил, что всего в километре к западу от крайних домов, на пустоши, оранжевые флажки отгораживают большой участок все еще заразной земли. И посредине пустоши над побуревшей травой возвышается статуя сфинкса. Изуродованный, с отбитыми лапами — почти бесформенная глыба черного камня — он владел по-прежнему пустошью, и теперь уже не один, а целых четыре солдата ночью и днем охраняли неприкосновенность его территории.

Оптимисты из населения говорили, что не сегодня, так завтра, буро-зеленые грузовики на всех четырех дорогах заведут свои страшно рычащие двигатели, засветят мощные фары, сдвинутся с места и уедут туда, где существовали раньше. Мирные жители проснутся свободными, а карантинные власти на пустоши будут сами сводить счеты со сфинксом и вирусом.

Но оказалось, еще не все обряды совершены в храме карантинного бога, и не все жертвы принесены на алтарь хищного вируса.

Жрецы карантина медлили. Скрывшись опять на заставе, они ждали чего-то. Вскоре просочился слух, что ждут не чего-то, а кого-то, очень важного человека. А потом стало известно, и кого ждут: приехать должен был знаменитый специалист по вирусам, член-корреспондент академии наук и обладатель бесчисленного множества научных чинов, Валентин Валентинович Бекетов.

Но зачем приезжать светилу вирусологии сейчас, когда все уже практически кончено — перед этим вопросом пасовали даже самые ловкие на выдумки люди. Ожидалось его явление с нетерпением, любопытством и суеверной надеждой, что одним своим словом, своими познаниями, и вообще, силой научных чар, он мгновенно снимет заклятие с города — начнется новая прекрасная жизнь, и людям останется лишь одна забота: как можно скорее изгнать из памяти все это карантинное наваждение.

Так что для города день его приезда был днем немало-важным. Ровно в восемь утра шлагбаум пограничной заставы медленно повернулся и уставился в небо указующим полосатым пер-

стом, словно надутствуя или благословляя проплывшую под ним черную волгу, и она пронесла напоказ всему городу неподвижную фигуру полковника, столь безжизненную, что, казалось, он отправил в аэропорт вместо себя восковую копию, нарядив ее в серебряное пенсне и серебряные погоны.

Городом в тот день правило любопытство. Черный автомобиль прочертил невидимую, но вполне осязаемую линию, разрезающую город надвое, и к вечеру эта линия напоминала муравьинок дорожку — вдоль нее непрерывно сновали люди, одни имели деловой вид и здесь оказались как бы случайно, другие откровенно слонялись. За всю историю карантина на улицах еще не бывало столько народу.

Но вот наступил вечер, вероятный час возвращения полковника миновал, публике ожидание надоело и она начала разбредаться, а черного автомобиля все не было.

Они приехали поздно, уже в темноте. Я сидел в ресторане и видел сквозь прозрачную стену, как на площадь бесшумно и медленно выплыла черная волга, и вслед за ней сразу еще один автомобиль — я не мог не узнать его — милицейский газик майора Крестовского. Они пересекли площадь и не поехали прямо, к заставе, а повернули вдруг на бульвар, надо думать, к дому майора.

Проникновение в город Крестовского было первым свидетельством всемогущества приехавшего специалиста — до сих пор ни один человек, ни из светских, ни из военных властей, в город допущен не был. Полковник пользовался данной ему вирусом властью непререкаемо и неумолимо, и майор был единственным исключением.

Вот что случилось в тот день. По дороге в аэропорт в полковничьем автомобиле — опять же, впервые за все время карантина — что-то испортилось. Два часа провозился солдат с мотором, два часа мерял полковник мелкими прямыми шагами горячий асфальт около своей волги, и не было ни попутных, ни встречных автомобилей, которые он, полковник, мог бы реквизировать своей властью. Шоссе было мертво, ибо город был полностью исключен из жизни страны.

И получилось так, что в это самое время таинственные дела майора, рыскавшего в поисках способа проникнуть внутрь

города, привели его в аэропорт. Вирусолог, никем не встреченный, погулял с полчаса у багажного павильона, и затем обратился за справками и советом именно к майору Крестовскому — это было естественно, поскольку майор, несомненно, выглядел интеллигентнее любого другого человека в милицейской форме. Понятно, Крестовский не упустил подвернувшегося ему случая.

Мы с ним встретились на другой день, и встретились хорошо, почти по-приятельски. Он заехал за мной на своем газике — что само по себе уже означало некоторую торжественность — и пригласил к себе домой, не то к позднему завтраку, не то к раннему обеду.

Полковник уже сидел за столом, а вирусолог только недавно встал. Он появился в махровом халате и похож был на хлебосольного помещика, который встречает наехавших неожиданно гостей. К его холеной бородке и зеленому халату я мысленно примерял длинную турецкую трубку и борзых у стола.

Он подошел к окну и высунул руку наружу, проверяя температуру воздуха, а затем удалился, и вышел к столу, одетый уже по погоде, в легкий полотняный костюм.

Если полковник был жрецом карантина, то вирусолог — по меньшей мере, первосвященником, и своим поведением полковник старательно подчеркивал это соотношение: он буквально млея перед Бекетовым, с особой ласковой обходительностью подливал ему в рюмку коньяк и всячески за ним ухаживал. Это было так же странно и неожиданно, как если бы его черная волга вдруг поднялась, словно пудель, на задние лапы и умильно завилыла хвостом.

Великий бактериолог принимал благодушно эти знаки внимания, говорил мало, а когда к нему обращались, слушал очень внимательно и благожелательно улыбался. Танец пылинок в лучах солнца вокруг его головы казался мне приветственной пляской всех бактерий и вирусов в честь своего повелителя.

Полковник порывался все время завести разговор о вирусных проблемах, но бактериолог их отклонил с завидным тактом и ловкостью:

— Отложим это до вечера... да ведь я читал ваш отчет... превосходный отчет, по-моему... почти готовая публикация...

Польщенный полковник умолк, и Крестовский тут же навел разговор на кошек и кошачьего сфинкса.

Бекетов слушал, и лицо его выражало совершенно детское любопытство:

— До чего интересно!.. — он произнес это с такими же интонациями, как Наталия в первый вечер, тогда в ресторане.

Как давно это было... пожалуй, Наталии с ним было бы легко разговаривать... да, вот сейчас, ~~за~~ этим столом, я мог бы ее представить...

Впервые за долгое время я чувствовал себя легко и свободно: карантин отступил вдруг на задний план, как пустая докучная мелочь.

Повесть о подвигах Одуванчика вирусолог выслушал с умилением:

— Какой человек!.. Это же просто подарок... счастье, что бывают такие люди!.. До чего мы скучно живем, все дела, дела... Остаться бы тут, да засесть писать детектив. Сюжет-то каков!

Отсмеявшись, он грустно вздохнул:

— Эх, господа военные! Какой был город! Что вы с ним сделали!..

Крестовский неопределенно хмыкнул, а полковник бешумно засмеялся — оба решили принять эту реплику за шутку.

Мы поехали к сфинксу, и Бекетов смотрел именно сфинкса, и только сфинкса, с увлечением примерял к выбоинам отбитые куски камня и выспрашивал у меня, есть ли в Крыму черный базальт. Колья с флажками и часовых он, казалось, вообще не заметил — наверное, таких часовых, кольев и карантинных он на своем веку перевидел столько, что имел ко всему этому надежный иммунитет.

Потом он подошел к берегу, критически оглядел песок с выброшенными водорослями и сказал в пространство, не то советуясь с нами, не то размышляя вслух:

— Пожалуй, здесь будет плохо...

Полковник стоял с довольно дурацким видом, и Крестовский не без ехидства ему объяснил, что бактериолог хочет купаться.

Я предложил поехать к меловым складам, и Бекетов выражал этой идее свое одобрение, а полковник посмотрел на меня взглядом человека, читающего на стене неприятное объявление.

У заградительного поста солдаты, бросив игру в домино, вытянулись перед полковником, и сержант ему несколько лениво, но вполне исправно страпортовал.

Крестовский хотел их просто объехать по целине, но полковник, как жрец карантина, не мог допустить в своем храме такого кощунства, и мы парились в нашем газике, пока солдаты, торопясь напоказ и усердствуя, а на самом деле не спеша совершенно, заводили двигатели. Наконец, они зарычали, и грузовики, как два дрессированных чудища, попятились в стороны, открывая нам путь.

По узкой полоске галечного пляжа мы подкатили к подножию меловых скал и, оставив машину, искали удобное для купания место. Свет солнца, попав в ловушку меж зеркалами моря и меловых стен, до боли слепил глаза. Белые глыбы, словно только сейчас откатившись от скал, циклопическими ступенями уходили в синюю глубину воды и просвечивали сквозь ее толщу тающими пятнами.

Для полковника этот день был, наверное пыткой. Спотыкаясь и скользя по камням, он брел вместе с нами, но купаться не стал — то ли не умел плавать, то ли это противоречило его понятиям о субординации. И пока мы плескались в воде и качались на волнах прибоя, он, в пенсне и мундире, сидел на глыбе мела, прямо, как суслик над норкой, и смотрел в землю.

Крестовский — случайно якобы — прихватил канистру сухого вина, мы потягивали его, лежа в плавках на теплых камнях, и полковник тогда позволил себе расстегнуть на мундире две верхние пуговицы.

Мы вернулись в город к закату, и Бекетов нас пригласил вместе с ним отужинать. За столом он был очень весел и ловко пресекал все попытки полковника и майора перевести разговор на вируса. Те недоуменно переглядывались, но старались не выдавать своей растерянности.

За чаем, помешивая в стакане ложечкой, вирусолог спросил довольно рассеянно:

— Как вы думаете, полковник, ваш шофер не откажется отвезти меня к самолету? Через час этак?

— Он солдат, — любезно улыбнулся полковник. Отойдя к телефону, он вызвал заставу и тихим голосом отдавал распоряжения.

— Ну что же, придется заняться делами, — Бекетов положил перед собой тонкую папку и перебирал в ней исписанные листы. С лица его сползло благодущие, и он приобрел чуть скучающий деловой вид, неувловимыми средствами дав внезапно почувствовать разделяющую нас дистанцию. Он сидел к столу боком, положив ногу на ногу, и нервно покачивал носком ботинка.

— Ваш доклад, — он взглянул на полковника, — и особенно ваш, — он кивнул Крестовскому, — вызвали в некоторых инстанциях повышенный, я бы сказал, нездоровый, интерес. Как видите, мне пришлось прилететь сюда, хотя заключение комиссии было уже готово. Вот оно, коротко, — он выбрал в папке один из листков: — Первое. Учитывая необходимость для активизации данной культуры исключительного совпадения ряда химических, физических и биологических условий, комиссия считает возникновение новых очагов маловероятным. <sup>Второе.</sup> Возможность использования данной культуры для диверсионных актов исключена. И, разумеется, третье: все ваши действия, предпринятые в связи с данным карантинном, комиссия считает правильными.

Последние слова он произнес с особой жесткостью, и я подумал — сколько он видел по-настоящему страшных вещей, и таких карантинном, где автоматчики в домино не играли.

— Все, что вы рассказали, весьма интересно. Я готов согласиться с вашим прелестным учителем, — он коротко засмеялся, — что кошки способны править городом... или даже страной. Но то, что этим вирусом управлять не может никто — вот это я вам гарантирую. Скорее вирус сам научится управлять вами! Вероятность диверсии — ноль... Увы, друзья мои, великий Джеймс Бонд не посещал ваш тихий город!

— А то, что переносчики вируса именно кошки, — с нарочитым безразличием поинтересовался Крестовский, — вы считаете чистой случайностью?

— Случайностью! Случайностей не бывает в природе! У нее есть повелитель — Великий Хозяин равновесия, и он зря ничего не делает, Хозяин равновесия вездесущ и вечен! Он не плазма в море и не облако в небе — он совокупность законов, но он совершенно реален, ибо обладает волей и имеет капризы. И, к сожалению, современный науке он недоступен.

— Я подобные мнения всегда считал суеверием, — осторожно прошелестел полковник.

— Суеверием? — пожал плечами Бекетов. — Да нет, просто научная корректность... Суеверие значит — пустая, ложная вера. Так что противник суевериям — вера. А наука им не друг и не враг... Она даже способна их порождать, — на лице его расплылась блаженная улыбка, — как мы наблюдали!

С улицы донесся скрип тормозов, и Бекетов застегнул свой портфель. Прощаясь, он превратился опять в либерального благодушного барина.

---

20

Снова наступило затишье. Город как вымер, по улицам никто не ходил, карантинные власти скрылись опять на заставе и никаких вестей населению не подавали. Было тепло и безветренно. Море ночами уже не светилось, неподвижное, черное, сонное, оно словно копило силы для предстоящих осенних штормов.

Но неподвижность эта длилась недолго. На третий день поздно вечером, когда месяц повис над степью, в обычные шорохи крымской ночи вторглись новые звуки: ритмичное тихое ворчание, будто все цикады окрестностей, неизвестным образом сговорившись, исполняли хором свои песни. Звук постепенно приближался. Вскоре он превратился в мощный спокойный рокот, исходящий, казалось, отовсюду, со всех сторон горизонта, а к полуночи воздух, земля и море сотрясались непрерывным многоголосым рычанием. С юга к городу приближалась, повторяя изгибы дороги, вереница огней — белых, желтых, голубоватых, разной яркости и оттенков. У окраины этот огненный змей свернул с дороги и, не вползая в город, стал его медленно обгибать, направляясь к морю, к кошачьей пустоши.

Они принялись за дело, не дожидаясь рассвета. Когда я пришел на пустошь, работа шла полным ходом. То, что творилось там, оглушало. словно фантастические животные, тяжело и медленно двигались в разные стороны огромные машины, земля под ногами вибрировала, уши раздирало грохотом, лязгом металла, рычанием мощных моторов, свистом и воем реактивных двигателей. Белые снопы света выхватывали из темноты людей,



части машин и кучи рыхлой земли.

Медленно поворачивались колеса кургузых грузовиков, на открытых платформах которых ревели и бесновались темные злые машины, очертаниями напоминающие медуз — отработавшие на самолетах свой век реактивные двигатели. Они изрыгали бледно-лиловые струи огня, лижущие землю овальными пятнами, на которых сначала яркими искрами вспыхивали остатки травы, и сразу чернела земля, а потом начинала постепенно бледнеть и светиться жарким вишневым цветом, гаснувшим понемногу, когда раскаленные струи уползали дальше. Желтые большие бульдозеры — я и не думал, что они бывают таких размеров — сдирали слой оплавленной земли, сгребая ее в кучи, которые дополнительно обжигали другие огненные машины.

То, что они делали, было, видимо, хорошо продумано и на свой лад естественно, но из-за разноцветных слепящих фар и адского шума казалось жутким, а в том, что происходило все это ночью, у теплого тихого моря, мерещилось нечто бесовское.

Зрителей не прогоняли, но с условием, чтобы они оставались на дороге и не проникали за линию оранжевых флажков. Любопытных набралось не очень уж много, всего человек двести, но здесь были практически все, кого я в городе знал. В толпе разговоров не было, все вели себя так, будто никто и ни с кем не был знаком, и с преувеличенным вниманием наблюдали за эволюциями механических чудищ, точно они должны были сию минуту выкопать из земли что-то необычайное.

Я оказался тоже под гипнозом этого зрелища. Не хотелось никого узнавать, не хотелось, чтобы меня узнавали. Я просто стоял и смотрел, совершенно бездумно, как под темным небом плясали оранжевые и голубые лучи, то уходя параллельно к горизонту степи, то скрещиваясь над морем и высвечивая белыми точками мечущихся птиц.

Сколько я так простоял, не знаю, может быть, полчаса, а может, и не один час; было ощущение взвешенности во времени и пространстве, и единственное, что мне запомнилось — домой я вернулся еще в темноте.

Не раздеваясь, как будто вскоре предстояло идти по срочным делам, я завалился в постель, но мелькающие перед глазами огни не давали уснуть. Чтобы от них избавиться, я взби-

вал подушку и зарывался в нее лицом, но слепящие фары, голубые и белые, находили мои глаза и глядели отовсюду.

Отвернувшись к стене, я наконец уснул, и тут же меня стал изводить навязчивый сон. Серая старуха, в похочей на хлопья пепла одежде, наклонясь над моей постелью, со старческим любопытством рассматривала мою шею, почему-то именно шею. Это сон, просто плохой сон, это совсем не страшно — убеждал я себя и пытался усилием мысли прогнать видение. Мне иногда удавалось заставить ее отодвинуться, но я не выдерживал напряжения, и она снова склонялась ко мне. Я чувствовал, сил моих скоро не хватит, чтобы держать ее на расстоянии, и страх, липкий и серый, подползал из-за подушки. Проклятая старуха, говорил я ей, где же я видел такую гадость и почему запомнил? Старуха, старуха, мерзкая старуха! Она не обижалась, ей нравилось даже, что я начал с ней говорить. Не надо было, не надо с ней разговаривать... Старуха подступила ближе и протянула руку к моему плечу. Я закричал, вернее, захотел закричать, но подушка стала живой и упругой, и закрыла мне рот. Проснуться, скорее проснуться — приказывал я себе, изо всех сил отпихивая подушку.

Меня трясли за плечо и хриплым негромким голосом говорил непонятные фразы, состоящие из комбинаций всего трех слов:

— Срочно... прибыть... полковник...

Мне удалось, наконец, спустить ноги на пол и надеть башмаки. Было совсем светло, и в сонном мозгу бродила тоскливая мысль, что раз уже день, значит будят меня законно, и я обязан не злиться и попытаться понять, чего от меня хотят.

Рядом стоял солдат со знакомым, как будто, лицом и смущенный моей невменяемостью, переминался с ноги на ногу, ожидая ответа или каких-то действий с моей стороны. Наверное, нужно было пойти с ним куда-то, и лишь только я встал, он направился к двери.

Облака затянули небо, дул ветер и было прохладно. Рядом с домом стояла полковничья волга — как же я не узнал спросонья шофера полковника — и внутри сидел кто-то, любезно распахнувший для меня дверцу.

Это был Одуванчик, и как только мотор начал тарыхтеть, он заговорил своим свистящим шепотом:

— Безобразие! Какая самонадеянность! Начал земляные работы и не позвал геолога! Или просто кого-нибудь грамотного-меня или вас! Преступнейшая халатность!

— Объясните, в чем дело? И почему спешка?

— Сейчас увидите! Легкомыслие, преступное легкомыслие, если не злой умысел! Наверняка даже, их рук дело! — его губы почти касались моего уха.

Старуха, старуха проклятая — засвербило назойливо в мыслях, а Одуванчик притискивался ко мне все сильнее. Я грубо отодвинул его локтем, он, чему-то радуясь, захихикал:

— С ними покончено, думаете? Это самая мелочь, те, что с хвостами! — он позади себя помахал рукой, изображая кошачий хвост, и осклаившись в идиотской улыбке, придвинулся снова вплотную. С ужасом и каким-то грязным удовольствием я почувствовал, что заеду сейчас ему по физиономии.

— Главных вы не увидите! За столом сидеть с вами будут, из вашей рюмки пить станут — а вы не увидите! Из рта сигарету вытащат... — скрючив пальцы кошачьей лапой, он потянулся к моей сигарете, и вдруг, вместо его руки, я увидел лапу с когтями, отвратительно достоверную.

Мерзость, ах ты, мерзость! Я замехнулся и, как мне казалось, с отчаянной силой ударил Одуванчика. Но меня отбросило в сторону, я попал кудаком в спинку сидения и получил мягкий, но сильный удар по голове.

Переехав канаву, машина затормозила. Я мигом пришел в себя и лихорадочно обдумывал, как объясниться с Одуванчиком. Он же растирал ушибленную лысину и шептал мне, по-прежнему ухмыляясь:

— Чуть не убил, проходимец! Это он специально, можете мне поверить!.. Что же ты, — он ткнул в спину солдата, — полковника-то аккуратнее возишь?

Не удостоив его ответом, шофер открыл дверцу и сплюнул на землю.

Кругом было тихо, все машины стояли, зрителей почти не осталось, и солдаты из оцепления разбрелись на кучки по два-три человека, лениво куривших у дороги.

Полковник вяло пожал мне руку и пригласил жестом на пустошь. Вместе с нами перешагнул запретную для публики ли-

нию и Одуванчик, причем полковник смерил его своим бесцветным взглядом, но ничего не сказал, и далее обращался только ко мне:

— Вы океанолог, профессор, а всякий океанолог немножко геолог... посмотрите, что у нас получилось.

Он повел меня к дальнему концу пустоши, и по дороге я мог оглядеться. Еще вчера здесь была степь, а сейчас это место было похоже на строительную площадку, словно кому-то вдумалось рыть нелепый, невероятных размеров котлован. Повсюду возвышались валы прокаленной мертвой красно-бурой земли. Ночью машины, начав работу по краю пустоши, постепенно сжимая круги, приближались к центру, но теперь они бездействовали, хотя вокруг сфинкса оставался еще довольно обширный остров нетронутой земли.

Полковник остановился. Рядом, в двадцати шагах от нас, набегали на берег пенные гребешки волн, и море мне вдруг показалось таким прекрасным и таким недоступным, что отчаянно захотелось сейчас же бежать со всех ног, бежать от полковника, от куч обожженной земли, от пахнущих соляром машин, куда-нибудь в пустынное место и просто сидеть на песке, и смотреть, как в шипящей пене волны приносят зеленые темные водоросли и пустые створки устриц.

— Вы смотрите не туда, профессор! — мягко вернул меня полковник к действительности.

Бульдозер, один из тех, что снимали второй слой грунта, стоял накренившись и осевши в землю не менее, чем на полтора метра.

— Вытащить его — пустяки. Но Лаврентий Сысоевич, — он повернулся в сторону Одуванчика, как бы только сейчас заметив его присутствие, — утверждает, что могут встретиться такие пустоты, в которые наши машины будут проваливаться целиком.

— Карст! — многозначительно произнес Одуванчик.

Полковник в ответ лишь улыбнулся пергаментной улыбкой, от которой лицо его, казалось, должно шедестеть. Он ждал ответа, меня же разбирал смех от выдумки Одуванчика. Все же мне удалось изобразить на лице серьезность и объяснить полковнику, почему здесь подземных гротов быть не может.

— Благодарю вас! Я так и думал, что Лаврентий Сысоевич преувеличивает! — он одарил Одуванчика сдержанным, но достаточно неприятным взглядом и, вынув из кармана платок, помакал им в воздухе.

Площадка вновь ожила. Степь огласилась ревом механических чудовищ, и они начали ползать по кругу в заведенном порядке, как паровозики игрушечной железной дороги, увеличенной в сотни раз чьей-то больной фантазией.

Провалившийся бульдозер тоже начал рычать и дергаться вперед-назад в своей яме, будто зверь, попавший в ловушку. Но его мощные гусеницы крошили хрупкий ракушечник, и он лишь углублял западню.

Я вдруг ясно представил, словно сам был тому свидетелем, как несчастный Антоний метался и прыгал в мраморном шурфе, до края которого он почти мог достать передними лапами, как он царапал когтями сияющие белизной стены и лаял на беспощадное солнце, когда его раскаленный диск вступал в голубой квадрат неба, видимый со дна шурфа.

Мне с трудом удалось отогнать этот кошмарный сон, почему-то привидевшийся среди белого дня. К яме тем временем подогнали другой бульдозер, и он вызволил провалившуюся машину.

Остальные машины продолжали ходить кругами, сужая их и сужая, и сфинкс был теперь окружен совсем небольшим клочком целины.

Полковник ушел, и Одуванчик семенял вслед за ним, я же удалился из огороженной зоны и присоединился к кучке зрителей. Уйти домой у меня не хватило духу — нездоровое, самому себе противное, но непреодолимое любопытство, сродни любопытству, которое гонит людей на публичные казни, подмывало остаться и посмотреть, как будут сносить остатки сфинкса. Мне казалось, разрушение сфинкса будет не просто механическим актом, а важным для всех символом, чем-то вроде эпилога всей этой истории. Но конечно, того, что случилось на самом деле, я не мог угадать.

Когда вокруг сфинкса, вплоть до самого постамента, были сняты два слоя земли, все машины отогнали в сторону, и остался только один бульдозер, который должен был вступить в единоборство со сфинксом. Все, что происходило дальше, вспоминается мне в замедленном темпе, будто я видел кино,

снятое ускоренной съемкой.

Только бульдозерист взялся за рычаги и стал выравнивать машину, принаравливаясь к постаменту сфинкса, как перед самым ножом бульдозера, между ним и постаментом возникла человеческая фигурка — пигмей между двумя гигантами. Это был Одуванчик, он мехал руками, словно пытаясь прогнать бульдозер от сфинкса.

Солдат в кабине бульдозера, не понимая, что происходит, остановился в ожидании дальнейших приказаний, и в этом не было ничего удивительного. Но, чисто зрительно, совершилось чудо: крохотная фигурка остановила монстра-исполина.

К месту происшествия подошел полковник. Одуванчик ему что-то горячо объяснял, не покидая, однако, позиции между машиной и сфинксом, но полковник покачал головой и отошел к зрителям, чтобы не присутствовать при неприятной сцене.

Два солдата принялись оттаскивать Одуванчика, он же бешено сопротивлялся и, очевидно, истошно орал, потому что даже сквозь рокот мощного двигателя можно было слышать его визгливый голос.

Когда Одуванчик был удален на внушительное расстояние, бульдозер зашевелился. Он уперся ножом в постамент, и мотор его веревел громче. Сфинкс покачнулся, но устоял, и сколько бульдозерист ни прибавлял газу, изваяние оставалось неподвижным, а гусеницы бульдозера пробуксовывали, и только по вибрации почвы мы чувствовали, с какой страшной силой он давит на постамент.

После неудачи первой атаки бульдозер отъехал на несколько метров и стоял на месте, будто собираясь с силами. Отдохнув с полминуты, он снова бросился на сфинкса.

В первый миг я не понял, что произошло. Почему-то удар бульдозера о постамент я почувствовал на себе, как толчок по ногам, и увидел, как изваяние и постамент медленно поднимаются в воздух, а потом уже ощутил боль в ушах и грохот взрыва.

Наступила полная тишина. Я подумал было, что оглушен — нет, отчетливо слышался плеск прибоя.

Постамент и сфинкса не было, а бульдозер стоял, покосившись, мотор у него заглох.

По счастливой случайности бульдозерист атаковал сфинкса со стороны зрителей, иначе бы нам не поздоровилось от обломков камней. Взрыв случился перед ножом бульдозера — нож был покарежен, но литая масса металла приняла на себя основную силу взрыва, и машина осталась целой. Бульдозерист потерял сознание и был ранен осколком стекла.

На месте сфинкса возникла воронка. Она сразу наполнилась водой, и из нее бил небольшой фонтан.

Солдаты, спеша и мешая друг другу, прилаживали к поврежденному бульдозеру трос, чтобы оттащить его в сторону. Вода быстро разливалась по котловану. Становясь мутно-серой, она пузырилась, раздавалось шипение, везде задемались маленькие фонтанчики, в воздухе повис едкий запах.

— Смотрите! Смотрите, что вы наделали! Радуйтесь! — вопил Одуванчик с перекошенным от злости лицом, с выпученными глазами, показывая пальцем на полковника: — Вы заразите все море! Весь Крым! Всех! Всех!

Публика явно прислушивалась к бесноватым речам Одуванчика, и полковник не мог оставить их без ответа:

— Вам, Лаврентий Сфсоевич, как учителю химии, нужно знать, что обожженный известняк называется негашеной известью. А сейчас происходит процесс гашения: окончательная и ~~шшш~~ полная дезинфекция! — произнес полковник слегка раздраженно, обращаясь не столько к Одуванчику, сколько к толпе, и направился к своей волге.

Зрители стали расходиться. Только несколько человек оставались до тех пор, пока не наполнился котлован, и на месте пустоши не образовалось мелководное озеро с мутной водой.

Погода портилась. По небу неслись низкие тяжелые тучи, у берега слышалось пенное ветра, море было сплошь в белых гребнях, и они уже иногда перехлестывали через узкую полосу суши между морем и пустошью.

Ночью шторм разошелся по-настоящему. Когда наутро, надевши плащ, я пошел к пустоши, вернее к тому месту, где раньше была пустошь, перемычка была уже размыта, и над бывшими владениями кошачьего сфинкса раскинулся новый морской залив.

С культурой шестьсот шестнадцать дробь два было покончено, и не будь полковник так дьявольски педантичен, он открыл бы город немедленно. Но куда там! Жителям объявили, что карантин будет снят лишь после проведения контрольных анализов. Ребристый кузов машины-лаборатории мелькал непрерывно в разных концах города и в степи, и казалось, эта машина может существовать одновременно в нескольких разных местах.

Отношение к сфинксу стало суеверным. Конец его воспринимали трагически /хотя, собственно, какая разница — быть взорванным или снесенным бульдозером/ и даже почти как сознательное самоубийство изваяния. Говорили — не стоило его трогать, какой там вирус на камне, и недаром Лаврентий Сысоич пытался его защитить, а он-то всегда знает, чего нельзя делать, да и как же иначе, раз он учитель. И коль скоро кончина сфинкса окрасилась суеверием, чисто практический вопрос — откуда взялась взрывчатка — никого уже не волновал.

Крестовского занимал, напротив, исключительно этот вопрос, по крайней мере, так мне тогда представлялось. Он с энергией взялся за расследование.

Конечно, от него после взрыва все ждали решительных действий, но той прыти, которую он проявил, никто предсказать не мог. Ни много, ни мало, он взял, да и обыскал дом Одуванчика и кабинет его в школе. И проделал это не кое-как, а в точности по букве закона, с понятыми и ордером на обыск. В городе такого не видывали, а Одуванчик, к тому же, за время карантина снискал всеобщее уважение, так что прокурор поначалу никак не подписывал ордер, но сдался, не умея противостоять напористости майора.

Я был приглашен в понятые, о чем получил заранее уведомление на официальном бланке.

В назначенный час, подходя к одуванчикову жилищу, я нагнал редактора.

— Кого я вижу, — сказал он уныло и протянул мне руку, — ай-ай-ай, это что же такое творится... прямо-таки уголовщина...

Крестовского еще не было, и мы ждали его на улице.



— Вот ведь какой человек, — растерянно причитал редактор, — совалясь всюду, вынюхивал, вот и допрыгался... Я вам вот что даже скажу, — изогнув по спирали свой каучуковый торс, он склонился ко мне, — из-за него все случилось, из-за него! Не лез бы куда не надо, никакого и карантина бы не было!

— Ну уж, сейчас вы чепуху выдумываете! — я разозлился, ибо и сам подсознательно верил в эту нелепицу.

— Кошки ему мешали, войну с ними затеял — где же такое видано? Они, может, к нам от Господа Бога приставлены!

Он отстранился и ласково меня оглядел.

— Это я пошутил, — он покивал головой, как игрушечный ослик, — Бога нет...

Обыск в доме у Одуванчика не дал ничего. Сержант и ефрейтор работали молча и с поразительной ловкостью. Все, к чему они прикасались, просматривалось мгновенно и укладывалось на место в прежнем порядке. Я недоумевал, когда Крестовский успел их так выдрессировать — ведь обыск был событием исключительным — и даже спросил у майора об этом, но он неопределенно пожал плечами:

— Входит в профессиональную подготовку...

Одуванчик воспринял вторжение спокойно и взглянул на ордер лишь мельком. Правда, со мной и с редактором он разговаривал нормально, а с майором — по-шутовскому предупредительно, и в открытую намекал, что тот повредился в уме. Когда мы от скуки начали пить коньяк, обнаружившийся в полевой сумке Крестовского, по его предложению Одуванчик присоединился к нам и принес рюмки, причем в свою каждый раз подливал валерьянку.

Обыск в школе происходил иначе, вовсе не по-домашнему. Майор сразу взял другой, официальный тон и, задавая вопросы, вел протокол, а потом дал его подписать Одуванчику.

Для начала Одуванчик отказался отпереть школу, утверждая, что для обыска в учреждении требуется санкция директора. В ответ Крестовский спросил, знаком ли Одуванчик с директорской подписью — оказалось, она уже имелась в углу ордера.

В химическом кабинете майор нашел все, что искал. Преж-

де всего была изъята еще одна бомба, то есть точно такой же ящик, на каком я катался однажды в одуванчиковом мотоцикле.

Потом майор стал допытываться, чего и по сколько Одуванчик клал во взрывчатку, и прежде, чем тот сообразил, что к чему, приставил сержанта взвешивать остатки химикалий из пакетов и банок. Тут Одуванчик начал спорить, кричать и брызгать слюной — выходило, что истратил он всяких веществ не меньше, чем на три бомбы — но протокол все-таки подписал. Пакеты и банки на всякий случай были арестованы.

А в конце обыска разыгралась безобразная сцена, которую я не берусь точно воспроизвести. Одуванчик пытался наброситься на майора и так бесновался, что сержанту пришлось показать ему наручники, после чего он, сгорбившись, уселся в углу, смотрел на нас бессмысленно выпученными глазами и не отвечал ни на какие вопросы. Взбесился он из-за того, что майор заодно с банками прихватил и все его папки с заметками о кошачьих делах. Ордер Крестовский составил предусмотрительно:

"взрывчатые устройства, материалы и средства для их изготовления, а также материалы, проливающие свет на мотивы преступления". В качестве последних и были изъяты архивы Одуванчика.

В заключение Одуванчику, как подследственному лицу, было вручено предписание о невыезде, в условиях карантина чисто символическое. Одуванчик сначала отшвырнул его от себя, а затем взял и расписался на корешке, добавив к подписи загадочную фразу: "Повестку получил с удовольствием и буду жаловаться".

Когда сержант и ефрейтор, нагруженные добычей, направились к автомобилю, Крестовский подошел к Одуванчику.

— Лаврентий Сысоевич, у меня к вам частный вопрос, не для протокола.

Глаза Одуванчика, казалось, остекленели, и было неясно, слышит ли он что-нибудь.

— Если вопрос вам покажется странным, можете не отвечать... это уж как захотите. Скажите пожалуйста, в течение последних двух месяцев часто ли вам снились... кошки?

— Эк он его, — прошептал редактор, — психолог!

Одуванчик продолжал сидеть, съежившись, и я думал, ответа не будет, но внезапно он вскрикнул:

- Издеваетесь?! Не имеете права! - и, вскочив на ноги, заорал сильным детским голосом: - Вон! Вон! Убирайтесь вон!

Редактор спешил, и майор приказал сперва отвезти его, а после уже доставить в отделение вещи, изъятые у Одуванчика. Насколько я знал майора, это значило - он хочет со мной говорить.

Машина уехала, но он медлил начать разговор, что-то обдумывая, и вообще, по виду, чувствовал себя неуверенно. Я решил, что он удручен скандалом во время обыска, но нет, оказалось, мысли его заняты совершенно другим:

- Вот вам загадка, профессор: почему именно Совин начал копать в делах этих кошек? Столько людей в городе, почти десять тысяч - и только один школьный учитель... тут уж можете мне поверить - действительно, только один. Умом не блещет, знаете сами. Отчего бы это - жил, жил человек, как все, и вдруг, ни с того, ни с сего, прозрел... отчего бы это?

- Ну, а вы?

- Я другое дело. Приехал со стороны, свежий взгляд значит. Кошек с детства терпеть не могу, а тут, смотрю - заповедник. Думаю, дай, для начала хотя бы в отделении истреблю. Не выходит. Ищу причину - вот так и додумался... А вот Совин - ему-то как пришло в голову?

- Он шизофреник, и по-моему, близок к сумасшедшему дому - вот и пришло в голову...

Он не обиделся, и даже, как будто, не заметил резкости замечания.

- Вот, вот... и я думал так же... но сейчас меня мучает... очень мучает мысль... а вдруг они сами его надоумили?.. Все, что нужно, изучено... сеанс наблюдения кончен... пора заметать следы... и на эту роль приглашают учителя Жимми, не всякий ведь смастерит бомбу... а когда он все сделает, его упрячут в психушку... Чистая работа!

- Хорошо, а куда девать вас, например?

- Может быть, я у них лицо непредусмотренное. А может, и меня они надоумили, и на меня уже что-нибудь готово... и на вас тоже... Вдруг они просто для развлечения из нас комедию устраивают? Играют в нас, вроде как в шахматы?

Бред... начинается бред... остановить его надо...

- Если вы это всерьез, плохи ваши дела!

- Ха, да вы рассердились! Это хорошо... только вы зря намекаете, мозги у меня в порядке... а что всякая дрянь мерещится, это другое дело... сны дурацкие снятся, никогда раньше не было... Поверите ли, такая мерзость: только спать ляжешь - тут же три рыла, не то свиные, не то кошачьи, одни рожи, без туловища, или хуже того - глаза, как блюдца, сквозь одеяло просвечивают... качаются надо мной, ждут... а в ухо кто-то бормочет: встать, суд идет... трибунал, трибунал... До чего становится пакостно... поднимаюсь, стакан коньяка и снотворное...

Для чего это он... чтобы и мне то же самое... надо, чтоб он замолчал... безумие заразно... заразно... есть у него свой вирус...

- Это нервы, усталость и нервы, - перебил я его, - внушите себе, наконец, это все ваша выдумка, химия вашего мозга!

- Спасибо, что объяснили, с учеными не пропадешь... я и сам знаю, что нервы, что же еще, как не нервы... да хитрость-то вот в чем: я ведь думаю, что встаю за снотворным, или открыть форточку, или еще что... но встаю все-таки - значит, своего добиваются... снова ложусь, засыпаю... а у них там дело идет... шелестят бумаги... кого-то допрашивают...

- Замолчите, вы сумасшедший! Там ничего нет! Понимаете? Там ничего нет!

- Не нужно кричать на всю улицу, пан профессор, - лицо его замкнулось в спокойной и жесткой улыбке, - вот вы и попались! Слово "там" признаете, значит?... Это уже полдела, а дальше пустяк - рано ли, поздно, что-нибудь "там" увидите... не сомневайтесь.

Ну и улыбка... сдержанная, а сколько жестокости... где-то уже я видел эту улыбочку... вспомнить бы...

- Пить нужно меньше, - сказал я зло, - а не то и черта с рогами увидите!

Что же я... это ведь хамство, так разговаривать... словно кто за язык потянул...

- Извините, майор, я нечаянно... у меня тоже нервы...

- Вот, вот, нервы... я же не спорю... - пробормотал он, глядя на что-то у меня за спиной.

Я невольно обернулся назад - улица была пуста.

Он постоял еще с полминуты, словно бы в нерешительности, и пошел прочь, а я подумал - как же ему будет скучно, когда карантин снимут, и вся история с кошками забудется.

---

22

Ветер исчез, и тучи, которые он гнал с моря, повисли цепью над городом. Солнце, пытаясь их растопить, обжигало землю бесцветными лучами, и небо закрылось белым горячим туманом, словно там, наверху, лопнул гигантский паровой котел. Воздух, густой и липкий, приклеивал к коже одежду, и я поминутно отдирал от шеи воротник рубашки.

Каблуки вдавливались в мягкий асфальт, каждый шаг стоил усилий. Сколько следов на асфальте... пустой город - и так много следов... и следы все странные, как от стада коз... вот след острого женского каблука... вот следы подковок... плоские, как лепешки, следы... следы, раздвоенные копытом...

Интересно, у меня какие следы... вот они, тянутся позади - узкие неровные вмятины... как нелепо они выглядят... неуклюжие, идут елочкой... следы большой глупой птицы...

А вот и совсем странный след... страшный какой-то... как глубоко вдавлен... раздвоен... словно чугунный человек шел на больших **клязьих** копытах...

- Да ты и вправду похож на дурацкую сутулую птицу - вылитый марабу! - неожиданно сказал я себе почти вслух, отчетливо слыша собственный насмешливый голос. Слова не всплывали из глубины сознания, а возникали сразу, как по чьей-то подсказке, будто печатались на ленте телетайпа.

Недобрая наблюдательность этих слов, этого моего другого "я", больно меня царапнула. Не очень-то хорошо я к себе отношусь... насмешливо... зло... беспощадно... за что бы это...

- Как ты глуп! Это же большая удача, видеть в себе сме-

шное!

Попробуй-ка возрази... тут же станешь еще смешнее... удача, конечно удача... только тоскливо от нее, от этой удачи...

Возвращаться домой не хотелось. Не хотелось входить в калитку, не хотелось открывать дверь. Что-то враждебное зашело в доме... я все время воображал, что живу в нем один... а на самом деле здесь еще столько всякого...

- Мой бедный друг, ты стал суеверен! А недавно других попрекал, хорошо ли это? Смотри, не свихнись! Возьми себя в руки, вспомни хотя бы, кто ты такой! Специалист с именем - тебе ли равняться с деревенским милиционером?

Я нашел в столе папку с неоконченной моей статьей - вот уже месяц, как надо бы ее отослать - и мой умный двойник одобрил это.

- Вот именно, займись делом! Чуть мерещится от безделья! Ты же грамотный человек - все законы этого мира давно изучены!

Да... законы этого мира... а законы не этого мира...

- Ты осел! Там ничего нет! Ты серый осел, с хвостом и с длинными ушами!

Я листал рукопись с трудом, как чужой, разбирал собственный почерк. Странно выглядели слова и формулы, словно было написано все это не полгода назад, а бог весть когда, и писавшего давно уже нет.

Мертвечиной несет от этого... будто чей-то архив... нет, сегодня это в голову не полезет... и вообще, целый вечер мне не высидеть в доме... как в батисфере, за стенкой бредовые чудища шевелят клешнями... нехороший сегодня день... тонкая-тонкая оболочка отделяет от ужасного... вот-вот порвется, не выдержит... когда началось это... с отъезда Юлия... нет, то пустяки... с ночи лиловых кошек, вот... это от Лены, она меня заразила... вирус зла, вирус безумия...

При одном воспоминании о той ночи я почувствовал неприятный озноб. Да, Лена... ей-то сейчас ничего не мерещится... полуживая, в больнице, ей не до этого... а ведь выживет, надо думать... натура кошачья, живучая... кочевничья кровь... а в нервах зараза... от этого-то не лечат...

В саду под деревьями тени растворили траву и кусты, превратили их в зыбкую серую массу, и начали выползать на дорожки, поедая желтизну песка. Нет, целый вечер я здесь не высижу... пусть это нервы, пусть я сумасшедший, но я не могу здесь сидеть...

— А кто тебя заставляет? Твое право, твое несомненное право, пойти в ресторан ужинать!

Да, ты умен, мой двойник... так я и сделаю...

— Можешь даже включить свет заранее, и никто тебя не осудит: ты совсем не обязан потом спотыкаться и искать дверь наощупь. И нервы тут ни при чем, речь идет об удобстве.

Спасибо, мой умный друг... — я послушно нажал кнопку настольной лампы.

В ресторане спокойно. Это он... это я хорошо придумал... тихо, свет приглушен... пусто... и в воздухе чисто... нет этого... растворенного в нем...

— Теперь видишь, что нервы — шутка несложная, — сыто разглагольствовало мое разумное "я", — рюмка водки плюс хорошая пища, и с фантазией кончено!

Действительно, стало легко... неужто так просто... ничего не мерещится, потому что ничего нет... да я и всегда знал, что нет... а странно, почти жаль, что нет... что нет ничего такого... да, жаль... пусто как-то без этого...

— Все-таки ты безнадежно глуп! Как тебе удастся столько лет притворяться умным? Тебе жаль твоего кошмара, твоего тихого помешательства? Что же, пора домой, а там поглядим.

Нет, нет, это я так... не хочу, не хочу ничего подобного...

— То-то! И хватит бездельничать: тебе на днях уезжать, собери вещи!

Да, да, верно... это разумно... я и так собирался, да все ленился...

Вот мои вещи: в шкафу, на столе, на стульях... и на вешалке, и в прихожей... почему их так много... я приехал сюда с одним чемоданом... и уехать надо с одним чемоданом... чтобы ничего лишнего...

Я начал с книг и бумаг на столе. Они, точно не желая мне подчиняться, никак не складывались в ровную стопку и расползались у меня под рукой.

Тьфу, дьявол! Как я однако неловок — пачка вдруг наклонилась, книги заскользили вбок, рассыпались и с глухим стуком легли на пол.

— Ты рассеян и неуклюж. И опять похож на большую глупую птицу! Э, да ты снова к чему-то прислушиваешься?

Мне, действительно, померещился чужой взгляд, и я пожалел, что бросил входную дверь распахнутой.

— Не оглядывайся! Не давай себе распускаться! Лучше открой буфет и выпей ~~нечего~~ чего-нибудь крепкого.

Что ж... это мысль...

Горлышко звякнуло о стакан... почему бутылка такая скользкая...

Я попробовал придержать ее левой рукой, не выпуская стакана, но он, вдруг оживший, выскользнул из пальцев и с тоскливым звоном разбился, обрызгав мои брюки настойкой зверобоя. Неловко дернув рукой, я сшиб с полки еще два стакана.

— Ты неподражаем! Да не делай теперь глупую рожу, сумеи хотя бы над собой посмеяться! Ну, улыбнись же, ты, идиот!

Стекло буфета отразило жалкое подобие улыбки.

Закреть, закрыть дверь... сквозь нее вползает, вливается в комнату чужое, страшное... копошатся в мозгу мутные злые видения... ползут из закоулков сознания... и непонятные тягучие звуки... да... звуки...

Я прислушался повнимательнее — за стенкой в пустой комнате скрипнул пол, потом еще и еще.

Это уже чепуха... никуда не годится... это... это...

— Слуховая галлюцинация, — получил я мгновенно подсказку.

За стенкой раздался тихий звон бьющегося стекла. Звон... скрип пола... будто там кто-то ходит, повторяет мои движения... снова скрип... брр, как неприятно...

— Не будь дикарем. Каждый звук имеет свою механическую причину и точное уравнение. Ты это знаешь лучше других. Меняется влажность — доски коробятся и скрипят.

Звон повторился... и скрип... тихие шаги...

— Галлюцинация — неужели не ясно? Пойди сам проверь, что там пусто! Ключ на столе в прихожей!

Действительно... вот он, ключ... откуда он... откуда я знаю, где ключ...



— Пойди убедись, что там пусто! Не то будешь всю ночь чепуху придумывать. Да стакан можешь взять с собой, ты хозяин здесь, пойми, наконец!

Хозяин... неизвестно, кто здесь хозяин... хотя, стакан не помешает...

В саду одиноко стрекотала цикада. Хороший... понятный звук...

Мои окна ярко светились. Узкий луч пробивался под шторой и выхватывал ветку акации; стручки мерцали восковой желтизной. Я пытался заставить зрение отделить черноту деревьев от черноты неба, но видел только белесые округлые линии.

Пульсируют белесые пятна... как мигающие глаза... висящие в воздухе, выпученные, напряженно мигающие глаза... как много у темноты глаз... глядят, глядят отовсюду, пронизывают пространство... невидимые руки-щупальца тянут со всех сторон!

Крыльцо... с отъезда Юлиа сюда не входили...

Ключ громко лязгнул в замке, и сверху вспорхнула бесшумная тень.

— Дурень, это ночная птица!

Темный страх втолкнул меня в дверь. Птица... конечно, птица...

Ключ повернулся... щелчок... зачем это я...

Я лихорадочно шарил рукой вдоль косяка... должен же быть выключатель... только гладкая стенка... нужно зажечь спичку...

— Спичку! Ха-ха! Ты рассеян сверх меры. Спички остались там!

Я повернул ключ влево. Не отпирается... неужто заело... вправо, и резко влево... снова нет... ах ты, дьявол... это же ловушка...

— Не распускайся! Сядь, пусть глаза привыкнут к темноте.

Огненные точки плавали в вращении. Как плавно они двигаются... будто фонарики рыб... глубоко-глубоко под водой... кругом плавают рыбы... несут огоньки на усах-стебельках, на плавниках, на спинах... рыбий карнавал... подводный праздник...

Иногда огоньки останавливались, и мне виделось, они садятся на стол, стулья, стены... огоньки отдыхают... или мне

что-то показывают... а я не понимаю...

— У тебя развинтились нервы. Это все в твоей сетчатке, и только в ней. Возбуждаются колбочки, или просто нейроны, и нигде ничего не плавает!

Нейроны... колбочки... тоска какая... завять впору...

Огоньки закружились, поплыли вниз... собрались вместе... осветилось пятно... как сцена... кукольный театр... там что-то готовится... страшное... все страшное собирается... отовсюду... из моря, из воздуха... убежать бы... страх подползает...

— Хлебни, дурак, из стакана! Авось, поумнеешь немного!

Крепкая настойка обожгла глотку, резкая боль ударила в переносицу, в виски, в солнечное сплетение. Спазма, как проволокой, сдавила горло. Меня начал трести сильный кашель, я задышался, ничего не соображая, дергался в конвульсиях, и каждая клетка во мне испытывала боль. Как противно трясет... никогда, никогда это не кончится...

Потом боль внезапно исчезла, и судороги приобрели правильный ритм, и пришла удивительная легкость. Я успел подумать, что, наверное, именно так начинаются припадки у эпилептиков.

Черный пустой мир... нет ни верха, ни низа... нет границ... плаваю в страшном пустом пространстве... темные конуса-глыбы населяют пустоту... меня нет, я тоже глыба... конус тоски, той тоски, что раньше была моей тоской... все конусы что-то мое бывшее... не вспомнить, не вспомнить... знаю только страх... глыбу страха... моего бывшего страха... я должен пробраться в нее... превратиться в нее... преодолеть расстояние... не умею совсем шевелиться... только мыслью, усилием мысли... от тоски в конус страха... совсем рядом, нет сил доползти к нему... вот он, ужас... серый и черный... кричать, кричать, научиться кричать!..

Где я... как странно, я на полу... сполз с дивана на пол... колени у подбородка... не могу шевельнуться... не беда, не беда... главное, кончилось это... не остался там, в пустоте... как хорошо, что не там... что уже не там... почему мокро... это настойка... опрокинутый стакан под рукой... и не пошевелиться... ничего... ничего... так лежать хорошо...

- Постыдись! Валяться, скорчившись, в луже! Как ты жалок! Вставай!

Не могу... не хочу вставать... так лежать хорошо... где светлячки... собрались в квадрат... нет, в кружок... маленькая арена... кукольный цирк... кто же выйдет на сцену... вот он, вот... маленький серый ослик... ослик танцует... кивает головой и танцует... почему не смешно... в цирке... почему так тоскливо... ослик, тоскливый ослик...

- Сам ты ослик! Тоскливый ослик! Посмотри, это просто крыса! Острый нос, и хвост, и усы! Это ты - клоун в цирке для крыс! Это ты ослик!

Ослик танцует... он очень важный, ослик... ослик танцует в цирке... почему не смешно... нужно, чтобы смешно... тоска какая...

- Говорят же тебе, крыса! Посмотри на ее усы! Посмотри, как волочится хвост, он вдвое длиннее ее! Это крыса, крыса!

Это крыса, крыса... танцует крыса... почему крыса танцует... почему танцует крыса... тоскливо, ох как тоскливо...

- У крысы четыре лапы, вот она и танцует! Ты же не крысовед! Есть на свете крысологи-крысоведы, будь уверен, об этих танцах не одна книга написана!

Крыса танцует... крыса-ослик танцует... тоска, какая тоска... никогда, никогда не кончится это... всегда будет это... какая тоска...

Тук-тук-тук... это что же... крыса хвостом... ослик копытом... вот опять... тук-тук-тук... еще громче... тук-тук-тук... зачем стучит крыса...

- Теперь ему звуки мерещатся! Да хватит валяться в луже! Вставай, твои глупые мускулы в полном порядке!

Сейчас... сейчас... действительно, руки слушаются... ноги тоже...

Я встал на колени. Качает... немного качает... пустяк...

- Наконец-то! Теперь смотри: где твои крысы? Где ослики? Под тобой пустой пол! Где светляки? Полюбуйся: самый обычный лунный квадрат!

Странно... луна... было так темно...

- Луна, как и солнце, имеет время восхода. Для тебя это новость? Плюс облачность.

Плюс облачность... квадрат на полу это минус облачность... снова стучат... тук-тук-тук... совсем рядом... тук-тук... тук-тук...

Лунный квадрат потемнел... это облачность... плюс облачность...

Я поднял глаза к окну - темная волна страха смяла мое сознание.

Ужас... серый и черный... я точка на конусе ужаса... немой кристалл в глыбе страха... кричать, кричать, научиться кричать!..

Черный силуэт заслонил окно, над плечами торчит что-то жуткое - крылья летучей мѣши, страшная белая маска расплущилась на стекле.

Судорожно, отчаянно, я швырнул в окно стакан. Мой крик, звон стекла и женский визг слились в один отвратительный звук, в подобие злобного хохота. Силуэт за окном исчез.

Наружу, скорее наружу!..

Дверь сама распахнулась, я вылетел в сад.

- Вон она! Догадался, кто? Бежит к своим иконам, свя-гоша!

Страх перелился в злобу, и я, сам не зная, зачем, гнал-ся за ней через кусты и клумбы, движимый звериным инстинктом преследования.

- Догони, догони ее! Пусть пробежится, толстуха! Ничего по ночам шнырять! Смотри, сейчас упадет!

Споткнувшись о край клумбы, она растянулась на песчаной дорожке. В мутном свете луны я видел, как она дергается под своим черным плащом.

- Истерика! Ничего страшного. А ты не стой, как болван, помоги даме встать! Да не забудь извиниться!

Она поднялась с трудом, и хотя я ее поддерживал, чуть не упала снова. Из порезанной щеки текла кровь, другую щеку и нос облепил влажный песок. Она продолжала всхлипывать.

Я повел ее за калитку, и только у собственного крыльца она обрела способность говорить, иногда умолкая, чтобы глотать слезы.

- Извините меня, я наверное очень глупая! Иначе бы я подумала, что могу вас испугать. Я так долго стучалась в ваш дом! Это ужасно с моей стороны, но я решила, что вам

нужно знать, — тут она опять часто завсхлипывала, — сегодня она... Леночка... она умерла...

От меня... от меня ей что нужно... я должен что-то сказать... не знаю, что ей сказать... она всхлипывать будет вечно... как тоскливо... тоска, тоска... где же ты, мое умное я... мой умный двойник, подскажи, что делать...

Меня вдруг пошатнуло. Противная муть в горле... и почему так холодно... очень холодно...

Я схватился за стойку крыльца, и Амелия Фердинандовна поняла, что со мной что-то неладно.

— Извините меня, извините, — беспомощно твердила она, и даже перестала вытирать слезы и всхлипывать, — вам нельзя ночевать в вашем доме, вы останетесь у меня! — она взяла меня за руку, и я покорно пошел за ней.

---

23

Скверная была ночь. Что-то темное, злое, залило город. Затопило улицы ядовитыми волнами, вползло во все окна, и заглядывало в спящие лица мутными глазами страха, пока не схлынуло на рассвете. Кого-то, наверное, задушило не в шутку, мягкими когтями-присосками вынуло из постели, унесло бесшумно с собой. Что нам до них за дело... пусть мертвые хоронят своих мертвецов...

Экие мысли смешные... чепуха, а забавно... и главное, легко и спокойно... ветер с моря, и солнце, и прохладное утро... асфальт твердый, надежный, под ногой не проваливается... отпечатки застыли, как в глине следы динозавров... да они и есть динозавры... монстры...

И чего это я вчера... я же в отличной форме... как-никак, три месяца на побережье... пора, пора ехать... хватит смотреть на монстров... два дня осталось терпеть, разглядывать этот аквариум... ха, надо посмотреть на майора... тоже не последний из монстров...

Как хорошо, что ветер... шелестят стручками акации... в конце улицы искрится блесками море... вот оно, отделение милиции... сколько следов... да тут топталось целое стадо... и глубокая черная лунка... след чугунного человека... выпить

небось, заходил... недурной у майора приятель...

А теперь осторожно: живой динозавр... милый друг, не забудь, ты в зоопарке... кормить и дразнить животных запрещено...

Он сидел за столом, перед ним лежали, подпирая одуванчиков ящик, толстые папки — материалы по делу о кошачьей преступности. Смешно — все обвиняемые, пять или шесть тысяч кошек, уже уничтожены, а обвинительный акт все еще не готов.

До чего он выглядит дрянно... угрюм и небрит... к тому же пьян, как свинья... видно, что псих... возможно опасен... не забудь, ты в зоопарке... к решетке не подходить...

Медленно, подозрительно, он навел на меня глаза.

— Вы чему ухмыляетесь?

— Разве? Нечаянно... — я кивнул на его стол: — Обвинение опоздало, обвиняемых уже истребили.

— Гм... вы уверены?

О чем это он... неужели эта история еще не кончена...

Мое спокойствие вмиг улетучилось. Где-то вспыхнул сигнал опасности.

Я подошел к окну, пытаюсь сосредоточиться. Непокойно здесь, в его кабинете... и не понять... не найти источника беспокойства... а красный сигнал горит... нужно вспомнить... вспомнить какую-то мысль... или забытое ощущение... вспомнить какую-то мелочь... неприятную мелочь... и сейчас почему-то важную...

— Вам известно о смерти Юсуповой? — брякнул я неожиданно для себя.

Он зажег сигарету и курил торопливо, будто ему на это были отведены считанные минуты.

— Вы забыли уже, пан профессор, что я знаю все, что случается в городе? Даже кто у кого поцует...

Хам... дрянь какая...

Он пересек комнату и остановился у двери, ведущей в маленькую каморку, нечто вроде чулана или кладовки при кабинете.

Он отсутствовал месяц и ничем не болел — "дробь-два" не тронул его — и все же выглядел как после болезни: лицо похудело, кожа под глазами стала желтой и натянута, в жестах потерялась уверенность. И еще появились вот эти произвольные остановки в движениях, когда он на миг застывал, будто к чему-то

прислушиваясь. От него исходили импульсы беспричинной тоски, они усиливали мое беспокойство, и я снова и снова делал попытки найти его источник, но память упрямо отказывалась извлекать из небытия старые неприятные воспоминания.

— Не знаю, как выжила, — он взялся за ручку двери, — но все-таки выжила.

Он приоткрыл дверь, и из черной щели выскользнула белая кошка. Она обошла кабинет вдоль стен, к чему-то прижимаясь, покружила у письменного стола, потом вспрыгнула на него и стала обнюхивать папки.

Крестовский тоже вернулся к столу и бесцеремонно оттащил за хвост кошку от папок; когти ее при этом с отвратительным звуком царапали полировку стола.

— Этот предмет помните? Пока вещь безвредная, — он придвинул к себе творение Одуванчика, затем извлек из стола и показал мне электрическую батарею, — а сейчас это будет бомба, и готовая к взрыву, — батарея со щелчком поместилась в своем гнезде. — Пан профессор, сделайте одолжение, не ухмыляйтесь так гнусно... я нечаянно могу замкнуть провода.

Еще пугает, скотина... черт знает, на что он способен... пьяный псих... осторожно, мой друг, осторожно: дразнить зверей запрещается.

Крестовский откинулся в кресле. Кошка потянулась, выгнула спину и сделала шаг к ящику. Она уставилась на майора круглыми внимательными глазами — несколько секунд они рассматривали друг друга, и со стороны казалось, что между ними идеальное понимание.

Кошка первая нарушила паузу: она поставила передние лапы на ящик. Майор ее отпихнул локтем в сторону, но она обогнула баррикаду из папок и вышла к ящику с другой стороны. Тогда он ее скинул на пол.

Кошка вполне непринужденно уселась у его стула, как садятся у ног хозяев все порядочные домашние звери, ожидая подачки.

— Вы готовитесь выступать с нею в цирке?

Он смерил меня тяжелым взглядом. Да, он сегодня опасен.

— Наша кошечка хочет взорвать меня и мой письменный стол! — Крестовский похосился на кошку, словно приглашая ее в свидетели. — Но зачем это ей? Она же не знает, что все

равно угодит в контейнер с известкой! Что ей нужно? А вот что: исполнить приказ, уничтожить меня; мои записи и себя самое... это не последнее дело, восстановление равновесия, как говорит наш великий ученый... по-простому, концы в воду: что хотели, разнюхали, и всех — в расход. Статуя уничтожена, все кошки тоже, остается убрать меня, эти папки и последнюю кошку... вас, видимо, тоже... Они думают, игра уже сыграна...

А он ведь не шутит... веселенькая история... теперь он готов нас взорвать, чтобы убедиться в своей правоте... прекратить, прекратить это... для начала заговорить зубы... не давать ему терзать эти чертовы провода...

— Рассудите, майор, трезво: да была ли это игра вообще? От ящика все еще разит валерьянкой, даже я это чувствую, хоть я не кошка. А если игра и была, она действительно сыграна, раз кошек уже перебили. Что вы хотите вытянуть из несчастного животного? Надеетесь, что она сознается в чем-нибудь? Бросьте-ка вы все это!

— И вы туда же? Ха! Надо подумать... раз ученые нам советуют... надо бросить... отпустить последнюю киску на волю... виноват, в контейнер с известкой... — он оперся локтем на свое костлявое колено и, наклонившись к кошке, смотрел на нее почти ласково. — А что, если киска сейчас возьмет и расскажет... объяснит, как все было... кис-кис-кис, а?..

Словно в ответ на его слова, кошка прыгнула снова на стол, и едва она сделала шаг в сторону ящика, майор схватил ее за заднюю лапу. Кошке тянулось к ящику, а скорее всего — просто пыталась освободиться и отчаянно скребла когтями, Крестовский же ее удерживал, и задняя лапа все вытягивалась, и стала нереально длинна, так что смотреть на это стало противно до тошноты, и я уже хотел было просить его прекратить эту сцену, но кошка неожиданно извернулась и вцепилась ему в запястье. Он с размаха швырнул ее на пол и стал разглядывать руку, а кошка, оправившись от толчка, как будто приготовилась прыгнуть.

На миг я почувствовал страх, что она убьет нас, и хотел крикнуть майору, что батарея все еще в ящике, но он сам



помнил об этом: тренированным, почти неуловимым движением, точным ударом каблука он приплюснул кошку к полу и выругался.

Кошка не заорала и не двинулась с места, а только, потеряв форму, обмякла, как эластичный мешок с водой.

Крестовский медленно наклонился к кошке, и мне показалось, что он тоже сейчас осядет на пол гигантской амёбой... сбросит хитиновый панцырь и станет самим собой, чем-то жидким со щупальцами...

Меня мучило. Словно холодная присоска шарит в груди... почему он так злобно смотрит... глаза студенистые... права была Лена... он, как моллюск, внутри жидкий...

— Да перестаньте вы, наконец, ухмыляться?! — майор резко выпрямился.

Присоска переместилась и зашевелилась теперь в горле. Я инстинктивно зажал рот руками... отпустило немного...

— Не ухмыляюсь... меня тошнит... извините...

Сейчас бросится... сейчас он на меня бросится... нет сил убежать... нет сил защищаться...

Он взял меня за плечи и куда-то повел. Как сквозь сон я слышал его голос: ничего... ничего... все в порядке...

Белый кафель... уборная... кран... белый кафель... тоска...

— Ничего... ничего, все в порядке... интеллигенция... нервы плохие.

Он укладывал меня на диван и подсовывал под голову что-то мягкое. Потом я услышал лягание оконных задвижек и скрип петель.

В висках стучать перестало... хорошо... лежать хорошо... хорошо, что диван качается... куда-то плывет...

Кто здесь... не шумите... не будите, пожалуйста... спать нельзя... это Лена придумала... спать нельзя, когда они рядом...

— Почему ты стоишь как чужой... подойди же ко мне...

Какой голос... зовущий, чувственный... сейчас... открою сейчас глаза... почему ты в купальнике... а, мы на пляже... не дразни меня твоими губами... твой лифчик, узкая тряпочка... да сними же его скорее...

Я коснулся ладонью ее груди и ощутил, что мы вместе куда-то падаем. Темно... ничего не вижу... сейчас, сейчас открою глаза...

Прохладно... светло, я лежу на диване... поздравляю тебя, милый друг: эротические сны снятся... только этого тебе не хватало... вот, опять:

— Почему ты стоишь, как чужой? Подойди же ко мне!

Невозможно... кошмар...

Я заставил себя сесть. Чуть кружится голова... пустяки... нужно бы подойти к окну...

Облокотившись о шершавый нагретый подоконник, я ошалел от солнца и от беззлобности всего окружающего. Деревья... вороньи гнезда... ворона чистит клюв... и главное, ветер... шевелит листья... холодит кожу... приносит запах морской воды... как хочется к морю... вдыхать, вдыхать его запах... все дело в запахе... в нем спасение... выпрыгнуть бы из окна и бежать... не ходить в кабинет майора... пусть мертвые хоронят своих мертвецов...

Я, наконец, вспомнил то, что пытался вспомнить там, в кабинете. Так вот что меня беспокоило — запах, тот самый болотный запах... мраморный шурф, мотоцикл Одуванчика, ночь лиловых кошек... растворенная в воздухе смерть... Этот запах теперь пропитывал кабинет майора, нагонял тоску и внушал чувство опасности.

Когда я отворил дверь, он, в расстегнутом кителе, смазывал разодранную руку йодом и, словно замороженный, следил, как кошка, волоча перебитые задние лапы, переползает с кучи папок на ящик.

— У меня к вам просьба, майор.

Он поднял глаза и смотрел на меня с безразличным недоумением, будто видел впервые.

— Разрядите, пожалуйста, бомбу и пристрелите кошку!

— Ученые нам советуют... — затыкнул он гнусаво.

Кошка, тем временем, перебралась на ящик и барахталась рядом с оголенными проводами.

Майор выпрямился в кресле, отогнул провода в разные стороны, вынул из гнезда батарею и спрятал в стол. Затем, немного подумав, смахнул со стола кошку, как случайный не-

нужный предмет — она с глухим стуком шлепнулась на пол,

— Не беспокойтесь, профессор, — сказал он своим обычным голосом, — с головой у меня все в порядке...

Позже я пробовал вычислить, сколько еще времени он просидел в кабинете — получалось часа два или три. Когда глухой треск разнесся над городом, я понял, что ждал этого звука, потому что сразу подумал о майоре. Пролетела ворона, за ней другая, потом еще и еще. Темными стрелами спешили они над домами и, поднимаясь по кругу, собирались в зачернившую небо стаю. И долго кружили над улицами кричащими овалами и восьмерками, пока вожаки не сели отдохнуть на деревья.

---

24

Перед снятием карантина полковник преподнес населению своеобразный мрачноватый подарок: родственникам умерших от вируса было позволено похоронить их на городском кладбище. Недавно еще об этом не могло быть и речи: трупы считались заразными, и ждали знаменитого патологоанатома, который их собирался исследовать. Но медицина внезапно потеряла интерес к вирусу, и жертвы его, пролежав разные сроки в холодильнике морга, в течение дня, одна за другой, тихо и скромно, в сопровождении только близких, переместились на кладбище.

Подарив горожанам свободу и пятнадцать замороженных трупов, полковник укатил в своей волге, а лейтенант остался руководить эвакуацией солдат.

Первым, кто въехал в город, был новый майор милиции, присланный на смену Крестовскому. Следствие по поводу взрыва он провел быстро и весьма формально. Флегматично выслушав мой рассказ о последних часах перед взрывом, он спросил, известно ли мне, откуда взялась бомба, и я сказал, что не имею никакого понятия. Он вел протокол сам, и когда я ответил на все вопросы, долго еще водил авторучкой по листу бумаги.

— Я о кошке не стал указывать, в управлении не понравится, — пояснил он тихим бесцветным голосом, — напишем так: "обращался небрежно в присутствии свидетеля со взрывчатым устройством".

Он протянул мне исписанную бумагу, и я поравился, что его почерк тоже похож на ряд узелков, завязанных на проволоке — прямо семейное сходство. Я подписал протокол и откланялся.

Из всех покойников, в городе родственников не имели лишь двое: Крестовский и Лена. Амалия Фердинандовна возглавила нечто вроде комиссии по устройству их похорон, в которую вошел и Одуванчик, благодаря исключительной своей активности.

Похороны пришлись на первое сентября, и участвовал в них весь город. Стараниями Одуванчика были сняты с занятий школьники, и они целыми классами, строем, под присмотром учителей, шли в похоронной процессии, в белых рубашках и красных галстуках, с цветами, как полагалось, принесенными к первому дню учебы.

Вид у толпы был праздничный — все оделось по-выходному, многие мужчины при галстуках, и многие навеселе. Да, этот день, пожалуй, был для них праздником, и хоронили они не майора милиции и барменшу из ресторана — хоронили собственный страх, вирус и карантин, хоронили сфинкса и кошек, хоронили все это минувшее, тяжелое и пропащее лето.

Медленно тянется процессия по мягкому от жары асфальту.

Медленно поворачиваются колеса кургузого грузовика, и храпит мощный двигатель.

Вдавливается в асфальт каблук, странные следы остаются за нами... круглые, как лепешки... трехпалые птичьи... когтистые собачьи следы... раздвоенные копыта... не человеческая толпа, а стадо диких животных... от меня тоже следы, неуклюжие, птичьи... я большая глупая птица...

Чепуха, милый друг, пустая фантазия. Всякий след запыляет, и особенно на асфальте. Даже след кирпича превратится в подобие лапы. Можешь проверить в сторонке, только смотри, чтоб тебя не приняли за сумасшедшего...

На открытой платформе два гроба. Гроб майора закрыт.

Это еще как знать, кто там лежит в гробу, — бормочет мне в ухо тощий небритый старик, из угла его рта капает на рубаху слюна, — не такой это начальник милиции, он еще всем покажет... Да, майор Владислав, он таинственный...

Где же однако следы... мерещилось, это от солнца... слишком яркое солнце, слишком сильно печет... здесь только одни каблуки... вот каблуки мужские, вот женские... можно снять размер, вычислить рост и вес человека... и нет ни копыт, ни лап... а где же чугунный... чугунный человек на козьих копытах... если большая толпа, то хотя бы по теории вероятностей - должен же быть в ней один чугунный... показись, где ты, чугунный...

Черные волосы Лены вьются по белому платью, и лицо ее не кажется бледным. В разных концах толпы одно и то же слово повторяют старухи: невеста... невеста... Голова ее запрокинута и ресницы опущены, будто она подставляет лицо ветру. Чуть приоткрыты вишнево-красные губы.

Низкий, слегка хриловатый голос: это у нас семейное... такие губы до самой смерти... и даже в день похорон...

У кладбища водоворот толпы столкнул меня с Амалией Фердинандовной. Она двигается по-рыбьи бестолково и плавно. И по-рыбьи горестно подкаты губы. Перебирает невидимыми плавниками... есть у нее, наверное, жабры... вместо воздуха прозрачная жидкость... вот почему так душно...

На щеках ее две дорожки от слез. Она вытирает глаза и зачем-то еще улыбается...:

- Извините меня, я нечаянно! Это так само собой получается, если я плачу, то обязательно улыбаюсь! Я боялась похорон в детстве, и мама учила, что бояться стыдно, и нельзя улыбаться. Я решила сегодня не плакать, но не могу удержаться. Леночка такая красивая и выглядит, как живая! Мне страшно, что она не совсем умерла, а ее закопают в землю. Я знаю, так думать грех, Бог накажет меня за это! - она на секунду замешкалась со своим платком, и по щекам ее потекли ручейки. - Извините меня, извините! - она в потоке людей уплыла в кладбищенские ворота.

Нелепое существо... загребает руками воздух, как рыба плавниками... а вместо воздуха жидкость... горячая прозрачная жидкость...

Опять челуху сочиняешь. Смотри лучше вниз под ноги, а то нос разобьешь!

Смотрю, смотрю вниз... под ногами красная почва, под ногами много следов... козьи, птичьи, собачьи, медвежьи...

ага, вот они, вот следы чугунного человека... глубокие черные лунки... одна... две... и там, за воротами, тоже...

Стоп, я сошел с ума... идти по таким следам... зачем мне этот чугунный... лучше уйти отсюда... уйти подобра-подзорову...

Толпа всколыхнулась и втащила меня в ворота.

Гробы уже плыли к могилам, рядом с ними мелькала лысина Одуванчика.

Казалось бы, в этот день, ему лучше бы вести себя тихо-так нет, он из кожи лез, чтобы быть на виду, и добился в этом успеха.

По дороге к кладбищу он, то забегая вперед, то отставая к хвосту колонны, и используя как посыльных школьников, часть публики заставлял убыстрять шаги и собираться в тесные группы, а других, наоборот, идти медленнее. Невзирая на бессмысленность его приказаний, они выполнялись, и еще до вступления на кладбище Одуванчик, по сути, единолично заправлял церемонией, полностью оттеснив и председателя райсовета, и партийных секретарей, которые, в общем, и не хотели официально руководить похоронами, но сначала пытались командовать исключительно по привычке.

Места, где кому стоять у могил, распределял Одуванчик, и выступающих объявлял тоже он, выкрикивая имена высоким отчаянным голосом, иногда срываясь на крик.

Ораторы выступали один за другим, и с какого-то момента я перестал их слышать, словно им кто-то выключил звук, как надоевшему телевизору, чтобы они не тревожили мертвых своими выкриками.

Взамен криков проступило обычно неслышимое. Звуки толпы - шепоты, вздохи, всхлипывания, отдельные негромкие фразы - стали слышны отчетливо, приобрели особую значимость.

Каждый звук не случаен... у каждого есть объем, есть своя форма... звуки-кубы... звуки-шары... воздух их не уносит вдаль, и они громоздятся кругом... невидимо, плотно заполняют пространство... растет, растет все выше невидимая постройка из звуков... поднимается к самому небу... все глубже уходит под землю... осторожней дыши... бесшумней... как громко шелестит ткань... не шевели руками... не то сам пре-

вратишься в прозрачный кристалл звука... станешь конусом... кубом... шаром... осторожной дыши... затаишься...

Закрытый гроб Крестовского гипнотизирует зрителей. Сотни глаз на него глядят неотрывно, ждут: вдруг зашевелится крышка... у каждого есть это "вдруг"... а вдруг и вправду в гробу пусто... и майор тут, в толпе, где-нибудь в задних рядах, и граненый его подбородок что-то высматривает, выщупывает... вон стоит у решетки ворот... неподвижный, чугунный... продавливая под собой землю...

Плывут лиловые пятна, и прячется в них чугунный... пятна, это от солнца... слишком яркое солнце... где же чугунный... исчез...

Это глупости, сам ты чугунный. Подними-ка правую ногу. Видишь: круглый глубокий след. След большого ослиного копыта. Ты чугунный и есть. Ты чугунный осел.

Нет, нет... я не чугунный... во мне течет кровь... вот, бьется пульс... меня можно убить... разве можно убить чугунного...

Много ты понимаешь, комок протоплазмы! Кровь! Нашел, чем гордиться. Это химия, только химия. А есть кое-что поважнее...

Потом подходит редактор. Странно: такой неуклюжий и так легко идет сквозь толпу... словно рыба меж водорослей... может быть, он скользкий, как рыба... намазан какой-нибудь слизью...

Он печально колыхает лицом:

— Ай-ай-ай, какой темный народ! Вот что значит провинция. Вы слышите, что они говорят? Будто майор не умер, и сейчас их всех проверяет. А что проверять-то — и сами не знают... Никому ведь худого не сделал, а как боятся, после смерти и то боятся... Ай-ай-ай!

Последнюю речь Одуванчик взял на себя, и тут уж бесновался вовсю, орал истощенным голосом, тряс над головой кулаком, и в паузах между выкриками раздавалось бряканье его медалей.

Содержание его речи передать невозможно, ибо она была совершенно безумной. Выходило, что он, Одуванчик, вместе с покойным майором, два соратника, два героя, раскрыли чей-то коварный заговор, и враги убили майора. И это одна только видимость, что враги уничтожены — их еще много, они везде, их полно даже здесь, на кладбище, и им нужно мстить.

А почему бы и нет... кошки сжили со света врага своего, и хоронят его, и радуются... как похож на кота новый майор, на кота флегматичного, хитрого... холеный и чистенький, и как будто все-таки липкий, словно он не водой умывается, а вылизывает себя по-кошачьи... и другие тоже... как вылизанные... и как они радуются, даже у гроба не могут скрыть удовольствия... кошки, кошки, прав Одуванчик, отовсюду глядят кошачьи глаза, и топорщатся кошачьи усы...

Ветер утих окончательно, солнце палит, и в воздухе влажно. Струйки горячего воздуха рисуют над нами изогнутые стволы. Текущие, красноватые, они уходят вверх, переплетаются и слегка покачиваются, как водоросли от подводных течений. А выше скользят, медленно перебирая гигантскими щупальцами, студенистые призрачные медузы, иногда они делаются невидимы, и потом проступают снова на фарфоровой голубизне неба слабым тисненым рисунком, солнце тускло отблескивает на их куполах.

Одуванчик не унимался, я ждал, что его остановят, но городские власти молча переминались с ноги на ногу, а новый майор делал вид, что все это его не касается, и только его маленькие глазки любопытно и, пожалуй, несколько плотоядно косились на Одуванчика. Тот же к концу речи осатанел совершенно и, несмотря на ее бессвязность, ухитрился насколько-то наэлектризовать толпу. Его шея и лысина стали морковного цвета, и я боялся, что завтра будут еще одни похороны.

— Мы клянемся, — выпучивая глаза, орал Одуванчик, — за тебя отомстить! — он поднял кулак, и группа школьников, наученная им, видимо, заранее, дружно гаркнула:

— Клянемся!

— Клянемся... клянемся... — нестройно прокатилось в толпе.

Секретарь райкома сделал шаг к Одуванчику и беспомощно остановился.

— Спи спокойно, дорогой товарищ! — взвыл тот из последних сил и, тяжело перегнувшись через живот, наклонился и бросил в могилу ком земли.

Солдаты, вытянув вверх карабины, дали залп, и добровольцы из публики начали засыпать могилы. Одуванчик стоял и, бормоча что-то, продолжал трясти кулаком.



Народ стал расходиться. Спешат... натываются на ограды могил... как бараны, толкают друг друга... улыбаются, блеют... по-ковлиному брыкают задами... косолапо топчут песок... оставляют следы кошачьих лап... и среди них чугунный... с ними блеет, с ними толкается, с ними топчет песок...

Смотрят с надгробий надписи... золоченые буквы, имена и чины... фотографии в черных рамках... рельефы из мрамора... я все это уже видел... когда-то... давно...

Черный памятник за оградой... чугунное литое лицо... здравствуй, чугунный... улыбается одними губами... ну и улыбка... спокойная, а сколько жестокости... мое лицо, моя улыбка... не очень-то хорошо я к себе отношусь... убежать бы... нет сил... страшно... тоскливо... сделайте одолжение, не ухмыляйтесь так гнусно...

Ты боишься себя самого. Это предельно глупо. Ты большая глупая птица.

Голос... меня зовут... меня ищут... кто-то идет... это тоже чугунный... поздно... уже поздно бежать... какая тоска... он рядом...

- Идите домой, будет дождь...

Юлий... откуда он здесь... галлюцинация... нет, это чугунный... это шутит чугунный...

Хватит валять дурака. Приведи себя быстро в порядок. Перед тобой Юлий, живой и здоровый Юлий.

- Будет дождь, - повторил он с мягкой настойчивостью, - смотрите, какая туча... Дома вас ждет сюрприз.

Приходи скорее в себя. Слышишь, как с тобой разговаривают? Как с больным или сумасшедшим.

Что я могу поделаться... сюрприз... понимаю, сюрприз... я, наверное, должен обрадоваться... должен удивиться... забыл... забыл, как это делается...

В нашем доме все окна и двери были настежь открыты, на столе в саду стояли чайные чашки. Сразу видно, приехали люди... здоровые нормальные люди...

За акацией тихий смех - я знаю, это Наталия.

- Я приехала тебя увезти, чтобы ты здесь не остался навеки! - на лице ее сияет улыбка, а в глазах недоумение и тревога. Говорит она оживленно и быстро, чтобы не дать мне

ляпнуть какую-нибудь нелепицу.

- И сбежим мы с тобой завтра же, а не то нагрянут господа скульпторы, и начнется светская жизнь. Ох, уж эти господа скульпторы! Я нашла им кучу заказов: городу нужны памятники. Но по-моему, для начала они должны сделать памятник мне!

Юлий ошибся: дождя не было, и мы пили чай под деревьями. К вечеру туча обошла полукругом город и легла черным брюхом на горизонт, приплюснув багровый закат и поглотив заходящее солнце. Город остался во влажном и неподвижном воздухе.

Я старался не подавать вида, что меня пугает этот застой. Недобрая темнота... подслушивает, подглядывает... как много у темноты глаз... как много у нее щупалец...

Наталья смотрела задумчиво и внимательно, как я перед сном запираю наружную дверь и задвижки на окнах, но спрашивать ничего не стала.

Она была утомленной и скоро заснула. Ее тревожили беспокойные сны, она что-то шептала и вздрагивала.

Сам же я спать не мог. За окнами что-то плавало, долзал по крыше, по стенам - невесомое, невидимое и невидящее, но я знал - реальное, жуткое.

Тонкая оболочка отделяет меня от ужасного... я в батисфере... снаружи скользкие щупальца шевелят клешнями и щупальцами... обшаривают окна и двери, хотят вползти внутрь... слепые, безглазые, они ищут щели наощупь... шарят, шарят по стеклам...

За окнами пусто. Все это тебе мерещится. Нервы. Химические процессы в твоём мозгу, и ничего более.

Химические процессы... оказывается, они очень страшные. ходит чугунный по городу, ходит по темным улицам, вдавливая копыта в асфальт... свалится, не звякнув, дверная цепочка... без лягга, сам повернется засов... отворится без скрипа дверь... и глянет чугунный мерцающими глазами-блюдцами... поползет деловито по полу и по стенам безглазая нечисть... потянет ко мне клешни, присоски, щупальца... унесет бесшумно с собой...

Это все - химические процессы, химические процессы в мозгу, - повторял я, как заклинание, но это не помогало, и я лежал, затаившись под одеялом, пока перед рассветом по

стеклам не захлюпали капли дождя, и страх не исчез.

Я попробовал разбудить Наталию, но она, глянув с сонным испугом, зарылась лицом в подушку.

Спать все равно не хотелось, и было тоскливо. Вот сбылись все мечты — военные машины завели свои рычащие двигатели, засветили мощные фары и уехали туда, где существовали раньше. Сбылась и моя мечта: вот рядом со мной Наталия, и она здесь ради меня, и мы вместе уедем отсюда. И это тоже всего лишь химические процессы в мозгу...

Наступило серое утро. Холодный ветер раскачивал ветки деревьев, и все время моросил дождь.

Я собирал по дому и укладывал свои вещи, и Наталия мне помогала. Потом мы пошли к Юлию, чтобы с ним попрощаться. Он сидел перед печкой на стуле и помешивал кочергой ворох горячей бумаги.

— Жгу свои рукописи, — пояснил он с любезной улыбкой, — как Николай Васильевич Гоголь... Скучно на этом свете, господа.

Он решил ехать с нами, и это не показалось мне странным. Автобуса не было, но Юлий нашел для нас частный автомобиль.

За окном плыла мокрая степь, и о днище машины тарахтела щебенка. Иногда в поле зрения вливались дома. И заборы, и беленные стены сверху донизу были увешены золотистыми табачными листьями, и казалось, в этих домах должны обитать люди, тоже одетые в гирлянды табачных листьев.

Путь прошел незаметно, и к поезду мы успели за полчаса до отхода. А дальше уж так получилось, что вместе мы добрались лишь до Москвы; там у каждого вдруг нашлось неотложное дело, и мы, все трое, разъехались в разные стороны. Но это уже к кошачьей истории отношения не имеет.

§§§§§§§§